

Григорий Данилевский

Беглые в Новороссии



*Часть сборника
Княжна Тараканова (сборник)*



Григорий Петрович Данилевский

Беглые в Новороссии

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173117
Княжна Тараканова: Эксмо; М.; 2006
ISBN 5-699-16377-8

Аннотация

Роман «Беглые в Новороссии» повествует о судьбе беглых крестьян накануне реформы 1961 года.

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	30
III	43
IV	60
V	76
VI	87
VII	96
VIII	125
IX	142
Часть вторая	170
X	170
XI	222
XII	248
XIII	280
XIV	312
XV	324

Григорий Данилевский

Беглые в Новороссии

Часть первая

Перелетные птицы

I

Левенчук и Милороденко

В конце апреля, по пути к азовскому поморью, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потерянной одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва заведя на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележонку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем был

зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

– Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? – сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано – волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортник тебе выхлопочут. Пань там не то, что у нас: всё ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит дерть собачью, жито пополам с ячною мучицей по пуду на душу. А там тебе и сало, и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены – и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка – не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семе-

нить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

– Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи – только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и камыши? Ну? Глуп ты есть, человече, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты – обуют тебя, наг ты – оденут, гладен – накормят, пьяница – пить дадут, баб любишь – предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Безжал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодеере Петилье, у которого после трижды в наймах бурлаком жил, – там такой шельма-французик под Бердянском степи держал, – а и то, что со мною случилось! Вышел я, братец, наработамшись и намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогоду пробирался, как и мы теперь, свинными дорожками, по захолюстьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украина, а вольная со светосоздания царина, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, – всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Постой, и

ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты, степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

– Харько! – сказал он, плетясь в гору.

– Что?

– Ты Левенчук по прозвищу?

– Левенчук.

– Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии: а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно, – и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпортик на первый раз нужен. Слушай, Харько...

– Что, Василь Иваныч? – грустно отозвался, вздыхая, новичок.

– Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покаюсь тебе. Непьющ я сызмальства, а как доберусь до воли – себя не помню: пять раз в

шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях, – потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самую скверную бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, – возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением, похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода – и они были наконец на рубеже того непчатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от до-

ждей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеею проселка, натыкались они на пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросят с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начнутся у него расспросы и шутки.

– Что, от панов? Панские? – спросят его.

– Панские! – скажет и зальется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и рассказах товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

– Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервые, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата,

старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

– Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? – Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

– Вылез я из камыша, – продолжал, хохоча, веселый во-
жак, – вылез, смотрю – человек сидит над водоспуском, пла-

чет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

– Что ж, дядько, – начал Левенчук, – скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» – «Воля ваша, говорю, пани». – «Да ты не знаешь, на ком?» – «Не знаю». – «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» – «Воля ваша!» – говорю, – а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знали мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

– Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым

словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! – кричит, – тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! – говорит шепотом, – это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» – «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дер-

нули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседкая дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» – «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жаре, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души, – одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется;

да и что сработает, ходючи без усталости? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! – так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом – и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?... так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрошенная, кровавленная на панской молотилке... А собаке – собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозила отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

– Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, – добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

– Как же ты, дядюшка, бегал? – спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

– А вот как я убежал впервые, – начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, – моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, – в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупчатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

– Что ты? Ах, братец ты мой! – даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

– Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! – продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, – это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, со-

слать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоты, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифиранец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил,

с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бывать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, – отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, – подумал я, – бес вас забори, похувики да супы, да лежанье одно, да панские рассказы!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

– Что же, дядько, а она где теперь стала?

– Умерла, говорят, братец, в скорости, без меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Васке!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу, – домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные,

братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, – золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая, степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

– Видишь эти пустыри? – допытывал Милороденко, – много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два го-

да назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепостились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волы паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волынка и две скрипки брэнчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» – узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

– Всечестнейшая и преблагородная компания! – сказал он, – целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

– А! это ты, Дамский? – отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. – Где был? откуда пожаловал?

– Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да

меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну – не замай! жить хочется, жить давайте мне – я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горькухи и преобразился. Про розги и свидание с барином он врал для щегольства. Из веселого и кроткого человека – это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

– Ах ты хохол-свинопас! – крикнул он на всю хату Левенчуку. – Слышите, добрые люди, денег не дает! – И ни слова дальше не говоря, попотчевал спутника страшною затрешиной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели.

Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже дожидались другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

– Здравствуйте, ребята – сказал он бойко, по-военному. – Много вас пришло?

– Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

– И все больше нашего поля люди? – спросил и весело подмигнул полковник.

– Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

– Ну, милые люди, будьте же гостями! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть – полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

– Рады стараться! – гаркнули пришедшие и пошли в кон-

тору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

– А что, дяденька, и вы тут?

– Тут, – отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

– Кого это, дядюшка? – спросил пугливо Левенчук.

– Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

– Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

– Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан явит, а ты беглый!

– По чем же вы стали? – спросил Левенчук.

– По гривеннику...

– Отчего так мало?

– Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

– Вы же толковали про мед да сало, дяденька? Где ж те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду людьми ходит? И тут, как у нас на панщине!

– Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщик с сальцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

– Пробовал.

– А что, вкусна?

– Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все поостроже. Загляделся – и гонят. А рыба вкусна...

– То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стучал по снопам до вечера

молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Вся почти артель полковника, человек до двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пуританские чистые нравы этого народа не допускали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на ученье рекрут и на глазах самого свирепого командира. Ночевали летом работники под открытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь недешево, очевидно, нарочно сюда не заглядывал. Но жизнь беглой артели была вечною тревогою, вечным ожиданием. Вот налетят – в кандалы, по этапу – и марш обратно в постылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расходились по соседним и дальним шинкам попить и побалагурить с наплывными же, беглыми девчатами.

– Да! – говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявшийся у Панчуковского, – вы вот, ребята, спокойны: полковник – человек-огонь, и начальство свое, должно быть, для нас убожает! А вот я намедни у немца за Мертвою молотил, слышим – звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы,

бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, сказуют, дал. У моего пана на Ворскле я кучером был, уж тот за нас так не потратился бы...

– Ну нет! – беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, – как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами паны не думали откупиться за нас! не то что людей с собаками, – собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое! – Толпа захохотала.

– Как так? Расскажи...

– А вот как. Был у нас не тут-то, на вашей вольной земельке, – а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распродобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и в скорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак, – а он был завзятый охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? – «Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал!» – «Ну, красть дворянам не полагается!» – думала судыха; да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запречь карету, села сама молодочка, да и покатила туда. Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак, в самой, то есть, спальне у пана, там – под его брачную кроватью; первое время он там держал собак – погони боялся.

Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судыха, хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, выходявшей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был наплывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подруги, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наколке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадрили из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

– А-а? ведь все из вольных, либо из бурлаков! – шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых, – посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где потом пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей, какой-то тщедушный, загнанный старикашка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был: «Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли, либо во-

ды теплой напиток, – так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровавил так, что стыдно было в люди показаться!»

– Скоро воля будет, пачпортов не будет, – мрачно говорил другой, – не будет неволи, и пачпортов не будет.

– Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! – откликнулся на это кто-то, – значит, воля близко!

– Э, братцы! – говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу, – как затеял бежать я сюда, наша барыня будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносился пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развалясь у крыльца, на травке.

– Медам, медам! пермете-с ангаже¹, – полька! – говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел – Милороденко.

– Ты и по-иностранному знаешь?

– Знаю! Супруга вывчила.

¹ Сударыни, сударыни! позвольте-с пригласить (*франц.*).

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девушки хихикали. Милороденко, натанцевавшись польки, утирал пот с лица.

– Да вы бы, сударь, трепака ударили! – говорили ему зрители.

– Нельзя, я барином два года был: трепак – холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

– Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? – свирепо спросил он Левенчука, – глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной убиваешься, – а?

– Нет, не о Варьке, а так – скучно!

– Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! хочешь, и тебе сматерим? – спросил Милороденко. – Тут только мигни, можно!

– Нет, скучно мне, – ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

– Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

– Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат – значит, волен!

– Будем. Надо устроиться, а то все страшно – стало строже все...

– Спасибо за дружбу! – добавил Милороденко, – а за

уступленную порцию – тогда, помнишь? – вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли: удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

– А что?

– Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

– Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня – ты дока на все...

– Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина, и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

II

Беглецы высшего полета

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадок, видный и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-афериста или помещика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цветы, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор — одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные, облачка. Кое-где только темнеют вдаль, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стайей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, настигают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернув свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы

по диким, плугом не тронутым, пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздается во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

– Самусь! это будто едет кто нам навстречу? – спросил барин кучера. Седой как лунь кучер наставил ладонь к глазам.

– Бог его знает, что оно такое! не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездок и возницу. Фургон остановился, путники что-то в нем поправляли.

– Что, обломались? – спросил господин из коляски, приближаясь к фургону.

– Чека соскочила, – ответил колонист, – с кем имею честь говорить?

– Полковник гвардии в отставке Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позвольте узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

– Колонист, Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

– Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

– Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это – табачок очень

тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

– Что нового на море? Что хлеб?

– С пшеницей вяло, с льном крепко; сало идет вверх, фрагтовых судов мало, конторы жмутся.

– Ай! это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Купера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

– Куда вы, собственно, ездили? – спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покручивая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его, кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

– По делам-с, господин полковник, – известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

– Какие же у вас дела? – спросил еще небрежнее полковник. – Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд пантофель»², как мы говаривали еще в школе надзирателям из вашей братьи?

– Как какие? всякие. Мы народ торговый-с.

– Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?

² «Картофель и домашние туфли» (нем.).

– Торгуем всем! Всем, либер герр³, всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, – ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

– Что же у вас за дела, скажите? – опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

– Да что, батюшка, – на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец, да не удалось – надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусья, а пожалуй, и чугуны. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу пословицу: морген, морген, унд ниht хёйте...

– ...Заген алле фауле лёйте?⁴ Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

– Мейне эйгене эрде⁵, моя собственная земля есть и под

³ Милейший (нем.).

⁴ Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят (нем.).

⁵ Моя собственная земля (нем.).

Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов при-смотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха – ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

– Сколько же у вас овец? – спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, и зевнул. – Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

– Благодарю! – ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже, немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под барашковой шапки, и принимаясь за масло, – у меня овцы довольно, о, очень довольно...

– Сколько же?

– У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

Панчуковский приподнялся на локте.

– Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! – сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова по покупке мертвых душ.

– Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! – ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. – Но, мейн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы

здесь чужие!

Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

– Да вы не шутите? – сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие корову, так и ослабились до полных загорелых ушей.

– Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за наживой, бросивший для барышей модный свет, щегольских товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода, – невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

– Вы колонист, и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или скорее бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере – ну, мы и бежали сюда.

Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

– Э! что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

– Сколько же у вас земли? – допытывал полковник.

– Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендую у соседних ногайцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку и табакерку! – крикнул он кучеру, – на дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

Колонист, между тем, еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

– А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

– Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устроиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, колонист, бродяга; бросил старый скучный север.

– Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

– Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

– О нет! Это все я сам! – говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом. – Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

– Как, и она? ваша жена тоже коммерцией занимается?

– Да; вы не верите? вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку, да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на щегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первой моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

– Вы отлично говорите по-русски, – сказал полковник, – давно ваша семья переселилась, или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно занимает; повторяю вам снова, я тоже ваш брат, переселенец, а по нашим русским понятиям – беглец! Мы теперь тоже за

ум беремся, да уж не знаю, так ли? Что-то в нас много еще дворянского; может, оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

– Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще двадцать пять лет был у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина, – ни косы, ни плуга не знала. Люблю я эти места: будто и бедные, а троньте эту землю – клад кладом.

Полковник спросил:

– Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

– Секрет? никакого секрета! Даже трудно сказать, как. Как? просто трудились сами, и все тут.

«Сами трудились! – подумал Панчуковский. – Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюнищем от новых друзей-кучеров.

– Я и не спросил вас, – сказал на прощанье Панчуковский, – вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковую болгарскою колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

– На Мертвых Водах? На Мертвых... Пойдите! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Пойдите, погодите...

– У отца Павладия?

– Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! и какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно, – хорошие места!

– Как? воспитанница? – возразил, краснея, полковник, – что за странность! Это прेमилло! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

– О-о, полковник! так вы волокита! – засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился. – Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

– Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иною гребчихой, в поле?

– Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

– До свидания, полковник.

– До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

– Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

– С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

– Есть у вас детки? – спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

– Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

– За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

– Вы не ожидаете, я думаю?

– А что?

– За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это – сухая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

– А ваш Гейнрих откуда?

– Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

– Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, – сказал полковник, смеясь титулу тридцать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского и

кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

– Поклонитесь отцу Павладию от меня! – прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять за клубилась по дороге.

– А ну, говори мне, скотина, что там за такая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? – спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуилик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

– Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительной, тяжелой мыслью.

– Барин, увольте...

– Это что еще?

– Не могу...

– Что это? Ты уже, братец, рассуждать?

– Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставить-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взашей?

– Скверно, брат, и подло! не исполнил поручения...

Самуилик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью «от неизвестного» в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали его на выборы. «Нет, не те времена! – глубокомысленно ответил он, благодаря дворян, – теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого в Токвиле. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такою же, вероятно, как он, румяною и белокурою супругой, возящей по степям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомице священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

III

Новозаимочный хутор

Новая Диканька

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выроставшие почти ежемесячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! – говорили они. – А эта Новая Диканька – суцкая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украйны, приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледела, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба, сарай для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни, – все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и

дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом в полуверсте был ток с хлебною клуней, а еще в стороне и ближе к дому – каменные сараи для овец и избы для батраков, то есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубою или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в крае – жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помоллом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиною для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги

шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угольном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкафами с книгами. Тут были и старики, и молодые, в сюртуках и в байковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртучках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марселя. Другие, кажется, никогда не мыли рук, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшею трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Щелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у сгонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и соображения, подсаживалась с богатырскою трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации и повторяла: «Ах, боже мой! Ах, господи! А я-то гребли не кончила, свай не набила; хлеба сколько насеяла... Кому убирать его, кому убирать! пойдём мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни

хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни, и в рабочие избы. Барыня Щелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые кверху, были надушены. На всех он смотрел с довольством. Все были веселы.

– Мы, господа, беглые, то есть в европейском смысле – колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуковский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! – говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский булочник, Адам Адамыч Швабер, – все эти машины чепуха! Лоп-

нет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственной ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! – возражали другие, – в Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» – «Как бы денег больше было, – заметил кто-то на это, – лучше всего было бы! Не из-за скуки же здешней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша – студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

– Владимир Алексеич!

– Что вам угодно?

– Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью, через месяц.

– Зачем вам?

– До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять-восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотиру-

ют; жидки-ребятишки намедни в Мелитополе подвезенные мешки с орехами на базаре скупили и перепродали с барышом, в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право. Помогите! как бы хотелось недаром тут пробыть на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

– Извините! – сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховей да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном, – трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

– Извольте, – сказал он опять студенту. – Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, тряхнул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть. Его окружили дамы; он был их любимец.

– А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? – кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

– На каких это, на нас? – спросил шутливо Панчуковский.

– Нет, на беспаспортных.

– Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! – сказал полковник арендатору Шваберу. – Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станového и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы. Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды карту, подумала и поставила на нее свои брильянтовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, расстегнувшись и выказав свою шелковую канусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражал-

ся, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое умение быть популярным. Потом все пошло снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

– Расскажите, ради бога, – спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяина, – что за название этой речки здесь Мертвые Воды и как населялся этот околоток?

– Да, – ответил хозяин, – история заселения моей земли и вообще этих окрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а допытывался ли кто-нибудь до недавних событий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

– Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митрополиту из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел этою землею, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствова-

ла с прошениями об этой земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из переселенных сюда поблизости далматок, надоедала всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей – на устройство странноприимного дома. Ездил одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манички. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Маничку и на просьбы ее хозяйки: «Коли не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» – отпускали с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку, и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад, – говорю я, – эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач, – он в нашей гвардии служил и я его знал, – сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрою рукою, а поверенный был питерский

бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника в будущую деревню. Это и есть наш вселюбезнейший отец Павладий, о котором мы с вами поведем речь особо! – прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

– Любопытно! очень любопытно! – говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившею в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

– Так моя поэма не скучна, господа?

– О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

– Вот-с, – продолжал хозяин, – как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодою чернобровою супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы делаете? строите село на безводной степи; отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге бьют самородные, пруды можно устроить хорошие». – «Как можно, – говорит строитель, – село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы». – «Ну, как знаете, – говорил поп, – а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, кончена и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель земле-

копов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с кибитками и скотом. Прибыли на место, разведены по хатам. Отец Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца – и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хватились переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев, – куда вам! Эпидемияхватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господ, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

– Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца – отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Со-

седние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и даже греки стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от бывлой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до едина. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чумаки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не забросаны роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безыменную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы или Порто-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный *marche funèbre*⁶ Шопена.

– Однако же как недурно он играет, – сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

– Да, очень даровитый человек! – ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

⁶ Похоронный марш (*фр.*).

– Так у отца Павладия, должно быть, преавантажный теперь уголок? – спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

– Да, – ответил задумчиво Панчуковский, – место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

– Отчего же?

Панчуковский помолчал.

– Вы хотите знать, отчего?

– Да.

– Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет о наживе, и я: ну, мы и соперники – вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

– Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

– Да! посмотрите, что это за священник!

– А что у него за воспитанница там есть? – спросил, сопя и зевая, Швабер.

– Право, не знаю! – ответил рассеянно полковник, – я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корысто-

любив только, как латинский поп.

– Да будто уже нашим и денег не нужно?

– Это еще вопрос...

– А где ваша кухарочка? – спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его, шутя, под бок. В это время двор, крыльцо и ограда осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

– О! бог знает, что вы вспомнили, камрад, – кухарку! Я ее прогнал давно взащей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасною. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, перевознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотчичей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Иваныча Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданыч Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и орден какой-то прислали и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь, врешь! Шульцвейн шельма, и ты шель-

ма! Такого осла хвалить. Он грубиян и ты эзель⁷! Врешь! А-а! Так ты хвалить? у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас – слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой, – он овечья голова, шафс-копф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушьего боя наконец разняли спорщиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом, немецкий фургон и погнали кучеров. Но взьерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили на траву, спорили и ругались и даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

– Погодите, оставьте вашу фуражку, – сказал Панчуковский.

– Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст будет.

– Да разве завтра у вас уроки? кажется, завтра праздник!

– Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

– Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, – а утром и доедете...

– Нельзя, право нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

⁷ Осел (нем.).

– Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

– Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

– О, еще скрываете! Он с кнутом гнался за нею, с мезониной в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдите в кабинет.

Они пошли.

– Извините, ваше имя и отчество?

– Михайлов, Иван Аполлоныч, – ответил, поклонясь, хорошенький студент.

– Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

– Я бы вам сам дал денег; и вот они, – недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница, – понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды, – поняли?

Студент покраснел.

– Ну-с, вы к нему, под предлогом займа денег, и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

– Но он меня не знает.

– Я напишу поручительство.

– Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент не договорил и опять покраснел.

– Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания? Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

– А далеко это?

– Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

– Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

– Чтоб ехать сейчас? и отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

– Извольте: очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающею тенью по росистым холмам и лощинкам.

IV

Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького, кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

– Здравствуйте; от кого вы?

– От Панчуковского, с письмом.

– От Панчуковского? Пожалуйста!

– А я думал, что вы уже спите.

– О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

– Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» – и засуетился. Зажег в главном углу приемной комнаты, у лампадки перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновен-

ной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табаку для папирос и бумаги и, сказав: «А? каково-с поет?» – поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя, сдвинула густые брови и ушла, помахивая полными круглыми локтями.

«Верно она!» – подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отекившим лицом, красноватой мясистой лысиной, едва прикрытую прядями седых волос, с утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и в камлотовом сером подряснике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

– Вы здешний? – спросил он с улыбкой.

– Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

– У купца Шутовкина?

– Точно так-с. А вы почему знаете?

– Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

– Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

– Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

– А! извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

– На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» – опять тихо сел.

– Извините; я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами, хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литературе? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

– Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

– Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние

деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучно-ва-то в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно покраснел. «Каков? – подумал он с досадой, – живет в глуши, а все знает; ну, что же? и я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

– О, как же! Читал. Галиматья, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крякнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

– Э нет, молодой человек! не грешите! что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Копперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет, – ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! – подумал он, – а какая степенница! таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! а щеки

– как персики в пушку!»

– О, – говорил между тем, ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая, – что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилия и невежество, – все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал. Священник вздохнул.

– Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

– Нет у меня ни детей, ни жены! всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? – спросил печально отец Павладий.

– Да, слышал; говорят, ужасы произошли в вашей колонии! правда?

– У! жутко приходилось тогда; да господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

– Гм! позвольте... Пуркуа регарде? пуркуа⁸ на нее? – спросил вдруг священник студента, оставя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

– Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! – ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. – Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

– Оксана, выйди! – резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

– Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

– Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

– Ах, боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из дворни градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной де-

⁸ Почему смотрите? почему (искажен. франц.).

вушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, сущий разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем, тут в околотке нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мешчанку держал более года, водил ее в шелках, в кабриолете в город пускал, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да бога забывают-с, вертепы разврата поза-водили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

– Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

– Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это сущий разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать – ему повезло. Тут бы себя поделнее

обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тыфу! За этим ли он ехал из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем приеме...

– Да-с, прехорошенькая! уж извините, попросту сказал...

– Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибежал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли? Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет, – не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят: хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старою лысою головкой и моргая красноватыми, припухшими глазками.

– Вы же вон первый заметили ее! – продолжал он, – а жаль

девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента, – вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

– Что вы, отец Павладий! по три на месяц?

– Да уж извините. У нас уж так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также, или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

– На дело.

– Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, недолго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

– Ну что? – спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели. – Я вас поджидал!

И он протянул ему небрежно руку.

– Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

– Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

– Хвастал, – робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стучал где-то из нижних комнат.

– Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

– Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

– Да, – сказал студент, вертя фуражку, – вы поручили узнать насчет той сироты?

– Ну, что же-с?

– Она дочь убитого беглого.

– Беглого! А! Значит, она отцу Павладию принадлежит так же, как и моему, положим, Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

– Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

– Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

– Девочка прехорошенькая! – твердил студент с чувством, – просто прелесть! Я редко встречал такие лица – и строгие, и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая... Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

– Человек, лошадь барину! – крикнул Панчуковский с постели. – Вы когда же опять у меня будете?

– Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» – подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близилось утро. Было уже перед рассветом.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках, который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший с узлом ступил из сеней в приемную.

– А! Левенчук! откуда бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

– Это, батюшка, уж примите; это вам свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

– Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! – крикнул священник в сени. – Я это люблю, спасибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

– Батюшка!

– Что тебе?

– Как же насчет того-с?

– Чего?

– Да насчет обещания вашего?

– Какого?

– А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче несло пение соловьев.

– Видишь ли, брат, – сказал он, не оглядываясь, – ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит – ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

– Так...

– А я тебя покрываю?

– Покрываете...

– Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, поташут тебя, раба божьего, – и пропала девка.

– Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-господом молю!

– Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых

на церковь да сто целковых на выкуп твой, – напишу к твоей госпоже; авось, дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

– Нет, батюшка! Бог весть, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилуйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил свечи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соловыиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

– Ну, – сказал священник, оглядываясь на них, – перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

– Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, господи, желал бы я, чтобы ты ей принес счастье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она – не знаю.

Левенчук вздохнул.

– Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к Троице отдам.

Он вынул из конца затасканного платка деньги и отдал.

– Ты где был это время и где теперь стоишь?

– Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

– Контрабандой занимался?

– Случалось.

– Нехорошо, Харитон, поганое дело! отвечать будешь! брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракишкой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

– И, батюшка, будто мы уже какие антихристы? закон отцов знаем.

– А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

– Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

– Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, – чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Навиделся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

– Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие, иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких на-

дежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежая и освещающаяся всякими блестящими, Панчуковский призвал в спальню своего Самуyliка, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

– Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравочений, иначе – плети; а в-третьих, изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки о поповой воспитаннице! Слышишь ли? собрать, да самые верные!

Самуyliк хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно и молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделявшую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мельница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распоряжалась.

– Здравствуйте! – сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

– А! это вы, мусье! – печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова. – Вы вот катаетесь, а мы труженики-бедняки, уже на работе! экскузе!⁹

⁹ Простите! (франц.)

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

А в гущине ракитника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

V

Наши Кентукки и Массачуссетс

«Что такое, однако, эти беглые в Новороссии?» – спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? – ответят ему туземцы, – известно что: беглые да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачуссетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их – ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековечной гостеприимной царины, к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневы, Каталманьевы, Безродные, – поройтесь в преданиях их, какова их история? Недавние предки их – крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые!» Так вам ответят туземцы. А сами присмотритесь на беглых – люди как люди! Что же их сманивает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности, шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села, гуртом выходя из тесных околотков, шли по дорогам в пыли и духоте,

босиком и впроголодь, в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубахами и сверкать потертыми косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с билетами, и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливаются, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господ юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станового, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станового тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик – бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой власти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые – народ смирный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только, либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой, из всяких суровых и тесных уездов севера.

Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, недолго думая, повесили на дубу. «Не срами, дескать, хороших людей!» Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы, это – шинки зажиточных слобод и одинокие постоялые дворы с громадными, уже известными читателю, степными колодцами.

Эти шинки – вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтиных и черниговских хуторах, в молотканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трактир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это, по праздникам, своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими белыми неграми наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или

идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшою надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надсаждается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчика другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых.

Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловче, подглядит его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы». Придет Юрьев день, – явятся верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут батраки и бабы, прощаются с родичами;

волы ревут, возы скрипят, а паны заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе нашего брата и рубятся саблями, а иногда и пищали, бывало, хлопают. Оно так всегда тут было!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза, хвалит свое, а этот свое; говорит: «Идите ко мне, люди добрые! дам вам и степи вдоволь, и хорошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гаркнул на них: «Где ваши паспорта?» Те переглянулись. Генерал был без конвоя, с одной свитой. «На барке, ваше сиятельство!» – ответили те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на барку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!» И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служитя обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокopa или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А

кому угодно котлеток а la метрдотель, бламанже, сюрперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид — содeржатель шинка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибаутки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские избитые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков или обходя одинокий стог три раза. Обошли — вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скарeдностью и стеснениями, вроде этого:

Чужи паны, як пугачи,
Держут людей до пивночи,
А наш соловейко
Пускае раненько;
Дае водки и грошей —
Спаси его, боже!

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поме-

стве Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» – спросите вы у станового. «По омерзительной привычке», – ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими переполнил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! хоть бы корчма или деревушка какая, а до города еще

верст двадцать. Остановился первач. «Ну, говорит, как бы чего закусить?» Кинулись к свите – ничего нет. А это уж помощник так подвел. – «Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоянного двора где-нибудь?» – спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постоит: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? может, разживемся чем-нибудь?» – «Вези, братец, вези! просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» – гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» – «Давайте есть; что у вас имеется?» – «Что же у нас будет, пане? мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» – «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первейшей рыбы, с бездною молок и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб, главное помните. Наелся генерал до отвалу: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылось море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» – «Нет, не знаю». – «У беглых!» – «Быть не может!» – «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал как и все

мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами велемочные господа кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя, кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской шляпе, или пешком, с плеткой усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, подмечая либо заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху с греховным помыслом приласкать ее вечером, в прохладе одинокой степной пустки, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! Эй, дивчата! – покрикивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки помахивая на куцах кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам, – а нуте, постарайтесь! а нуте, разом, разом, разом! дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы. Косовица во всем ходу,

в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняною крышею в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодезцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понеделно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшнею, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой – сто тридцать пять, той – двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Перо тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! вон и сам пан полковник выехал! – говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом

сером или буланом жеребчике, – ну, это уже недаром! верно, старый хрыч Самуйлик смастерил ему какую колонистку, либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлик, летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, жите этим господам, право! Денег – куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают – тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

VI

Оксана и ракитник

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был в наймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в ракитовой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любятя птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любитя все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своею любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями нежит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась,

как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, полощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана, – говорит на это дьячиха, – ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! – думает Оксана, – и без тебя знаем, где что получше, покраще!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит, – а сердце так и колотится. «Вот, думает, девки полагают, что я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни в наймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?... а раakitник?... Да и тетка Горпина так же думает!..» Пойдет на пруд днем, белье моет. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь, – шепчет ей что-то, – глянь! в кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то – глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть. «И чего я гляну! – думает Оксана, стуча вальком по белью, – теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харько. Постлалась

на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо любить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец Павладий. И с особою любовью ходит она за дитятею тетки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплачется. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпуск с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая, – этого она и не расска-

жет. Стала вдруг она и более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана; темные брови еще темней стали; а слегка впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движенья замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против рощи; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берущую песню нашей Украйны...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевницы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу, и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько, и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харьков? Должно быть, с дивчатами чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она ки-

дает в него нитками, траву щиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» – говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гущину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась к осоке озера, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бегали, выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана; прошлую ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницею, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась – а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» – «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» – «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» – «Дома; пчел едет покупать на Троицу! Приходи тогда...» – «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до

вашего немца». – «А, стой! – тихо крикнула Оксана и замерла, – стой; как будто кто ярмом под ногами вот у нас идет; не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще у своей барыни, как пас овец, как его женили, как Варьку машиной задушило и потрощило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» – спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся пчелами; даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени – все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся – она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед Петровками, мы его разыщем... хочешь? Я припас еще денег; самая малость остается, так и скажи батюшке!» – «Скажу». – «Скажи, что после Троицы, как управлюсь на море да поко-

шусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» – «Ох! уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходя в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут». – «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» – «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют». – «А, батюшки, батюшки! вот доля!» – «А слышал ты тоже, – вон попадья к нам от Шутовкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит, – будто к Небольцевым господам исправник выбегал с понятами, село обходил, все сундуки и погреба осмотрел и шестнадцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, сказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» – «Ну, ну?» – спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю. – „Ведите меня, говорит,

хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые, а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...» А исправник смеется: „Ведите его, молодчика, да покрепче закуйте; он уж по четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...» И повели его на Екатеринослав особо. Так сказывала Шутовкина купца попадья...» – Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После Троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не житье нам точно здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам, – пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся – а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» – «Согласна!» – «Так жди же меня, жди, жди!..»

Близился день Троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны лишившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал

в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходок по всем денежным делам, собирался ехать туда на своей пегашке, вслед за обеднею. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капиталца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразительные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капиталца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало денег блуждало и по северным уездам губернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобыльной и далее до Яны-Салы.

VII

Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей Святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкою винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранною заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила есть батюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, бог с ними – нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (которого отец Павладий в простоте души звал не Белинский, а Белинский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню батюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубках непроглядного дыма, покрутила носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это верно, батюшка раскутился; верно, росным или смирною так накурил!» Еще раза два простучавши по зеленому двору быстрыми пятами, Оксана наконец заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые

башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под рощею, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотою маковкою. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, бывшим приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!..» – прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватою лысиною старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственною рукою. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на кли-

росе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселенцы и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимал глаза, сперва было упершиися в загорелый затылок дьячка, не успевшего отойти вправо, и увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» – без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминанья, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен, так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол, – сказал он, простодушно хихикая, – кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с». – «Очень благодарен». – «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» – «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается, ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся». – «Вот как!» – «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!»

«Ого! – думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спе-

ша к другим гостям, – даже с Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть деньжат! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

– Смотри же, Горпина, – говорил он, уезжая, – не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

– А мне, батюшка, можно за роцу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? – спросила Оксана.

– Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя сгоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданною роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса гребцы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом. Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разны-

ми разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

– У меня, братцы, семь целковых есть!

– Овва! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

– Брешешь!

– Ей-богу!

– А по мне так три молодницы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

– То, может, три свиньи, а не три молодницы! – кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позычает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому приехал купец Шутовкин.

– Я к вам, полковник, с просьбой! – сказал он. Это был

грязный и жирный толстяк, с маленькими свинными глазками, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

– Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скаредничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

– Так-с...

– Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

– Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

– Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

– Ну-с, что же... И с богом!

Купец крикнул и отер лицо.

– Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попристойнее завести – за своею гувернанткой как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

– Bravo, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал,

трепля по руке полковника:

– Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал, – ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод или в город прежде, спрячу и в недельку, авось, ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

– Полковник, – сказал гость, – мы с вами коммерческие дела обдeldывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

– Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

– Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками, моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

– Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! – крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все как надо.

– А полиция? – спросил Панчуковский. – Ведь эти болга-

ры народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

– Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» – «Своя воля!» – отозвались из толпы. Принесли парни и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роще и стали с разбегу прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка, тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе люди Панчуковского. «Э! с вами бегать – горе наживем!» – со смехом отнекивались девки от исканий полковницкого Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-боярыня, пожалуйста ручку!» – руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рощицы запретною игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у оврага коляска и телега.

«Тише, тише!» – распорядился с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подобранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарскою скаковою четвернею, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? – думал Панчуковский. – Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и неподвижно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к игравшим у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Много думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! – думал он, – чистый эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» – и в то же время вдали у огней произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский слышали, как

по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через секунду раздалась и сдержанные крики: «Ой-ой! пустите, пустите», – и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была при-тащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинуты, грудь распахнута, одежда изорвана.

– Душечка, душечка, перестань! перестань! – шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожащими руками, и едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

– Погоняй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их неожиданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно.

«Не дави, пусти, а то брошу!» – говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались крики: «Ой-ой! спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» – «Милованку, Милованку, девку из колонии!» – «Кто же это?» – «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят – знакомые всем полковницкие люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

– На коней, братцы, на коней! – закричала толпа парней. – Где наши кони? в погоню за ними, отбивать! Бей их, бей! Как! наших девок красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за лошадьми, поскакали верхами по звуку колокольчиков, а другие побежали пешком в стороны. «Садись и ты на коня!» – кто-то крикнул Абдулке. «У меня свой тут», – ответил тот и поскакал также. У него был за пазухой колокольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвенел им, повернул коня назад и сбил этим дружную погоню. Ему это было не впервые: закубанский татарин, он еще недавно набивал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами собой, девки разбежались первые.

– Пойдем и мы, тетка, скорее домой! вот страсти! – говорила напуганная Оксана тетке Горпине, между тем сильно подгулявшей с какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва волочившей ноги.

– Ох, бабо! скорее, скорее пойдем! да нуте же, двигайтесь шибче! вот засиделись тут! а неравно батюшка при-ехал; что тогда нам будет? Скорее, скорее, скорее! вот страсти! я сама вся мертвая...

– И, моя кралечко, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! – отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рошу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви раkitника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! выручат ли они ее?» – подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю,

на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на замок и, наскоро помолившись, вернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так страсти! Боже! Боже! где-то теперь мой Харько! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй!»...

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

– Поздравляю, Мосей Ильич! – сказал Панчуковский, доскакав до осинової рощицы и выпрыгнув из коляски.

– Спасибо, Владимир Алексеич! – отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и лоя его за плечи. – Позвольте вас обнять! Эта роща, эти осинки останутся у меня навсегда памятни...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

– На завод! – крикнул кучеру Шутовкин. – Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

– Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лошинки в гору, от условленного места свидания, от осинок, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцати. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, по-

что пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотымах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! – мыслил он, – все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь опраправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

– Самусь!

– Чего угодно?

– Абдулки еще не слышно?

– Никак нет-с.

– А скоро будет сюда, как думаешь?

– Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или нет? – думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски. – Ехать ли на торги, или и мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

– Самусь! – сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще отдален-

ный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

– Абдул-с Албазыч! – сказал Самуйлик, – это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуйлику и сказал:

– Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

– Нашему-то? – спросил Абдулка, стирая с лица пот.

– Да.

– Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следует пропасть! Полагать должно, что и нам не приходится зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару.

Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, огла-

шая их изредка храпом. Оксана нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько, и о том, что ОН обещался явиться вскоре после Троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?.. – неожиданно подумала она, – вот бы до смерти обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решила окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмелья напиться!» – решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» – мысленно решила Оксана и быстро в восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно, и радостно. Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дьячка и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга,

а потом стала наскоро одеваться. Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! «И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вокруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженной восковой свечою в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела осознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у кота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» – подумала она, глупо запахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

– Что вам? – тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее миглом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! тетка Горпина! – силясь отбиться, но вслед затем крикнула громче, по местному обычаю: – Кто в бога верует, рятуйте!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, и стянули вожжою ей ноги и руки, и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень и церковною оградою и ложиной оврага вышли к пруду и к роще. «Это удивительно! – думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуилику, – как спокойно и беспрепятственно унес-

ли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

– Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! – сказал полковник, уложив в коляску Оксану, и сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

– А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? – спросил Абдулка.

– Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбежал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побежал к коляске.

– Что ты так долго был там?

– Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника ездить не иначе как вскачь особенно пригодился.

– А мне куда? – спросил, провожая барина, Абдулка.

– Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всем!

– Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще неожиданным отступлением. Толпа подпивших у ракитника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянною мочажинкою, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! души их, лови!» – его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! вот он! держи его!» – заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? где она? где вы ее девали?» – горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Швабер (это был он) трухнул не на шутку. Он ехал также с тайного свиданья, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его происхождения. Он стал запираяться, что ничего не знает и не видел.

– Да что его слушать! Бей его! Розог сюда, розог! – гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбили с него шляпу, положили его на траву и насыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

– Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки поделом!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, ед-

ва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у ней целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он забыл и детей своих, и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Процеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особливо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу, – но кошелек точно произвел свое: угомонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом, на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя,

студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Павладий и дьячок; они все узнали еще дорогою и накинулись на дьячиху.

– Где Оксана?

– Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

– Что ж делать! Бейте, не бейте, а я не знаю; пропала моя душа! – стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

– Да где же ты была, подлец баба? где была? – допытывал дьячок.

– Что же! напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

– А! солдаты у пруда! Иди же сюда... – Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все. Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский

надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйлика, а сам с другим батраком, сторожившим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина, услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуковским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за перегородки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом: «Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» – получил отказ и взялся за шапку.

– Вы слышали, – спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, – вы слышали, – там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и

привез известие – странное известие – о поклаже сегодняшней ночью двух девушек, возле роши вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

– Нет, не слыхал! – ответил полковник, бережно запирая за собою двери.

– Жаль, – сказал, уезжая, Шульцвейн, – таких господ – это, наверное, наши помещики либо офицеры – горожане, – их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте! Напишите мне, кто это.

– Прощайте! с удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, опустя голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложа назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! что выкинул! Это он, он! больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» – так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседавал на литературу. По целым дням

читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор писать, охая, сопя и не зная, где лучше выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

– Боже, опять публикация о беглых! Эх их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

– Послушай, Фендрихов, – говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей, – вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии, Южнобайрацкого уезда, дворовый человек помещика Студныченко, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, делавшими фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Осо-

бых примет не имеется. Говорит хорошо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и сборищам с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его, обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

– А? Фендрихов! слышишь?

– Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

– Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

– Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

– Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь – фальшивые ассигнации делал и паспорта... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

– Да-с, срок-с подходит! на днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп на-

зад.

– Что деньги! Не в деньгах дело! не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил – поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоился таганрогской истории!

– Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дьячок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

– Ваше преподобие! там от этого самого Панчуковского-с, от полковника, приехали! – И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

– Что тебе, любезный? – спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

– Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать! – ответил Абдулка

(это был он).

Священник задумался. «Странно! – подумал он, – до сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, повертел его, высморкался.

– Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

– Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

– Это ему читать?

– Читать-с.

– Стало, он дома? Это скучает он, значит?

– Дома-с.

– Он что делает?

– Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают, либо курят... У нас тоже гости бывают.

– Кто же?

– Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять насчет степи наезжал...

– А он ездит куда?

– Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-нибудь,

в гости...

Священник обратился к дьячку, у которого рот, с приездом Абдулки, как открылся, так и остался.

– Газеты, Фендрихов, на столе лежат?

– На столе.

– Все там лежат?

– Все.

– Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный, полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? от меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не помяли.

– Будьте покойны-с.

– А косари почему? – нежданно и уже без всякой причины брякнул старик.

– По трехрублевику-с в день и по порции.

– Ай, батюшки! вот ломают! Ну, да я по трехрублевику не достану, где нам!

Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки, а потом ударил себя по лбу:

– Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что, брат Фендрихов, а? Каков тузище?..

Дьячок махнул рукой и зарычал:

– Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому некому, я уж знаю! Эк! анафема! И еще за газетами к нам же... Тьфу! и сраму им нет.

Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав и, следовательно, не имел случая узнать, кого разыскивают из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между прочим. Когда священник получил обратно газеты, он заметил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том же положении, как сложил он их, отправляя.

«Странно! – подумал священник, – так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

VIII

Пленница

Между тем как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей красавицы, а Михайлов, предоставляя малым пленцам клевать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами, – в это время буквально никто в околотке не знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хваталось за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма, она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рискованный посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фуэнтес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

– По чем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? – подобострастно спрашивали полковника

мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

– Дорого-с, – говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки, – по девяти целковых за десятину, скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница своими анафемскими расходами!

– А! по девяти целковых за одно это? вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но втайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щегольскими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не метенный уже две недели по поводу полевых работ.

– И когда у этих господ, – замечает иной из них, – времени станет еще на такое продовольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! и де-

ла как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку, – думали иногда соседи, – то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверху, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних окнах, под полуопущенными белыми жалюзи, отороченными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей, являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось! – сказал Панчуковский, – ну, да зато же немца в пыль стоптал!»

И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза! – думал полковник, – за глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливалось за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинхинок, хохлатых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнцем крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркою нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника

во дворе, в отличных деревянных конурах содержались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутливо думал: «Нельзя ли уволить и собак, и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

– У! проклятое бурлачье! оно горой за него стоит! – говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворне полковника, – точно вертеп Синеи Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся захожими по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке похищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок, и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безыменный донос о передержательстве беглых крестьянок

и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходки соседей из более порядочного круга.

– Господа, довольно! – говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки, – всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое положение в свете. Я уже вышел из поры дюжинного волокитства... Я, господа, не черкес и не юнкер, а Владимир Алексеевич Панчуковский!

Если бы кто захотел, однако же, подлинно узнать о судьбе Оксаны, тому стоило только обратиться с вопросами к старому «чабану» на арендном хуторе полковника. В день, когда Панчуковский, проводив после торгов с хутора колониста, вошел за перегородку своей пустки, чабан к вечеру услышал невыразимые крики. Чей-то сперва сильный и громкий, потом тихий и слабый голос молил о пощаде...

Старый чабан, больной и дряхлый человек, а некогда музыкант, вторая скрипка какого-то князя, из беглых, собирался уже богу молиться после ужина и ложиться спать, как наконец обратил внимание на эти крики. Он вышел из своей хаты, постоял, послушал, и давно замершее сердце с силой

застучало в его груди. Он сходил к овцам, воротился, крики стали смолкать. Кучер барина и другой батрак, наделенные, по обещанию, суммой на выпивку, весело ушли в овраг с квартою водки, привезенной с торгов. Старик стоял один. «Не мне, видно, старому забродчику, – подумал он, – не мне одному не было счастья на свете! То еще чья-то доля пропадает, коли не пропала!» Сел, уронил седую голову на колени и заплакал. А ночь была так же восхитительна, и по-прежнему чудные, таинственные, обворожительные шорохи носились в воздухе окольных степей...

К ночи крики и голоса в пустке смолкли. А наутро полковник вышел веселый, как-то богатырски смелый, дал ближайшей прислуге опять на магарыч, Самуйлика оставил, а с батраком уехал. Немного погодя наехал в эту неотвечную глушь, четверней в карете, будто барина привез, один Абдулка, побыл тут часа с три и к вечеру выехал. В карете окна были завешены. Чабан это видел с поля. «Не наше дело! – подумал он, – не наше!» И тихо допасал свое стадо, тыкая палкою в траву, и, соображая, повторял, по обычаю, со скуки, счет прожитых им горемычных годов.

Полковник отлично устроился. Пленница его долго не смирялась, но потом, так же как и все на свете, смирилась. Кого не проберет железный коготь неволи и заточения? Ее поместили в уединенной комнатке дома Новой Диканьки, на мезонине. Разумеется, за нею ходила баба Домаха, и как кор-

мила собак на привязи и кур по двору, с таким же молчаливым добродушием хлопотала она и возле убивавшейся господской пленницы.

– Что ты, мое сердце, стонешь все? глянь: вон тебе ленты новые купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего плакать? И-и! в наши годы мы не то сносили! – говорила иной раз Домаха, взбираясь на вышку к Оксане.

– Душно, бабо! нельзя тут быть под эту крышею! От железа пар такой, духота как в бане, и это с утра до ночи, целую ночь мечешься! Хоть бы посвежее...

– Так зачем же ты противишься, неласкова к нему? Тебя и держит под замком. А то пошла бы себе уточкою по свободе.

Оксана отмалчивалась и только плакала.

– Да вы, бабо, хоть окошко мне отворите!

– Слуховое? Другого нет.

– Да хоть слуховое, для воздуха.

– Эге! А как выскочишь с крыши да сдуру еще расшибешься? На то оно и забито у нас железом, тут прежде панская казна, сказывают, была. Около двери и сундук стоял.

– Куда мне разбиваться и скакать с крыши! Пропала уж теперь совсем моя голова; куда мне идти? все от меня откажут; и то я была сирота, а теперь чем стала?

Домаха качала головой.

– Сердце мое, сердце, одумайся! На что оно-то, что ты говоришь! Пан у нас добрый; побудь с ним годок-другой, он тебя в золото оденет. Вон и я была молода, наш барин сперва

меня было отличил, а там и до дочек моих добрался. Так что ж? Поплакала, да и замолчала! Сказано, переможется...

– А зачем же вы, бабо, бежали да уж столько лет тут мыкаетесь в бурлаках, на чужбине?

– Э! про то уж я знаю!.. Видишь, сердце, скажу я тебе, пожалуй: я пана нашего любила и во всем ему была покорна; да пани наша старая меня допекла, как помер он, – от нее я и бежала... Я и бежала, сердце!

– Бабо, бабо! жгите меня лучше на угольях, ставьте на стекла битые, только дайте мне домой воротиться, дайте там с горя моего помереть!

– Да ты же сирота, беглая, Оксана! куда тебе идти?

– Я про то уж знаю, бабо! Попросите барина, чтоб пустил меня; будет уж мне тут мучиться... будет!

– Не можно, Оксана, не можно, и пустые ты речи говоришь! а когда хочешь, вот тебе нитки и иголки, шей себе рубашки, ишь какого холста барин купил! голландского...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, недоумевая, как это, среди такой холи и роскоши, такая непокорность. Оксана плакала и, пока было светло, принималась без всякого сознания шить, что ей давали. Она, ноя от тоски, думала о священнике, о привольной роще, о ракитнике; дитя Горпины мысленно качала... А Левенчук?

Перед захождением солнца Домаха несла ей ужинать всяких яств и питий вволю. Ничего не ела Оксана. «Левенчук, Левенчук! где ты?» – шептала она... Сумерки сгуща-

лись, месяц вырезывался перед слуховым окном, ступеньки по лестнице наверх скрипели под знакомыми шагами, и дверь в вышку Оксаны отворялась... «Это он!» – подумает Оксана, задрожав всем телом, и кинется в угол каморки. Как бы хотела она в ту минуту нож в руках держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ее угол, и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь и темная-темная ночь не слышат ничего, что делается и кроется в этом каменном доме, за этою высокою оградой.

К рассвету Владимир Алексеевич выходил опять на площадку лестницы, будил ногой спавшую у порога заветных дверей верную дуэнью Домаху, приказывал ей пуще глаза беречь пленницу и сходил вниз. Внизу же иногда его покорно ждали те же услужливые Лепорелло: Абдулка или Самуйлик. «Ну, – думает Домаха, – барин теперь остепенился – одну знает!» А Владимир Алексеевич, нередко в ту же ночь до утра, скакал с ними верхом на другое свиданье, в какой-нибудь уединенный казацкий или колониетский хутор, где ожидали его новые, путем долгих исканий купленные ласки чернобровой Катри, Одарки или голубоокой немецкой Каролинхен. Оксана не знала, что и прибрать в голову, когда он уходил от нее. Только сердце усиленно билось в ее груди, как у перепела, нежданно перемещенного с привольных диких нив, из пахучих гречих или прос в тесную плетеную клетку: сколько ни мечись, сколько ни стучай в сети глупую разбитую головою, не вырвешься, не порхнешь опять на вольную

волю!

Были последние дни июля.

День клонился к вечеру. По полю без оглядки и без дороги спешил куда-то напрямик рослый, дюжий, загорелый и страшно запыленный парень в синем мешчанском жилете, в новой черной свитке и в серой барашковой шапке. Он изредка останавливался у косарских артелей, подходил, что-то порывисто спрашивал и поспешно уходил снова далее. При повороте на Святодухов Кут он остановился, как бы в раздумье, идти ли туда, или взять в сторону? Пошел было мимо, но одумался, махнул рукой и своротил опять туда. Отец Павладий столкнулся с ним у церковной ограды, идя зачем-то с ключами в церковь.

– Левенчук! Откуда?

– Я, батюшка...

Священник опомнился и более не спрашивал! Он молча пошел обратно в дом. Левенчук пошел за ним.

– Ну, вижу я, – начал, запыхавшись, священник, сев дома на крыльцо, – вижу, что ты, Харько, все знаешь!

– Знаю, батюшка!

– Где же ты это так долго был?

– Болен был, на пристани; чуть не умер.

– Да, ты похудел!..

В эти четыре долгие недели Левенчук точно похудел, но в то же время возмужал, будто вырос еще более и, загорев и

закрасневшись от дороги, похорошел. Волосы скобкой, стриженные усы стали виднее: молодец молодцом.

– Что это в котомке у тебя? Где это ты так принарядился?

– Это подарки невесте и вам, батюшка! Да и как было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было вдоволь на пристанях, и выкуп готов – да невеста, должно стать, не готова, батюшка! А я-то и хатку уж себе сторговал на Поморье, тихим трудом замыслил жить с нею...

Священник замотал головою, всхлипывая и смотря на Харько в испуге и в смущении.

– Убью, батюшка! – сказал неожиданно Левенчук, ударивши котомкой оземь, – убью его, зарежу, как собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побелело.

– А потом что будет? – спросил священник, сам не зная, что отвечать на эту угрозу.

– Что вам, батюшка, каяться, как на духу? – спросил в свой черед Левенчук.

– Говори, как на духу!

– Ну, я подожду полковника, запалю его со всех концов, клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки наложу. Вот что!

Священник прошелся по комнате.

– Ах ты, душегуб, душегуб, Харько!

– Я-то душегуб? Нет, не я, а он! Да что мне теперь, ну? Думал, в бегах счастье найду... И тут его прежде нас, дураков, забрали! Дураки мы, – вот что, батюшка! Право, дура-

ки. Теперь я уж понял! Не то нам следует делать, вот что!

Священник встал, взял за полу Левенчука, повел его в спальню, разложил святой покров на столе, под образами, раскрыл на нем Евангелие и сказал:

– Беру с тебя присягу, Харитон: поклянись мне, что ничего того не сделаешь, на что повернулся нечестивый твой язык! Клянись, Харько! Я этого не попусти!

– Не буду я клясться, батюшка! Не буду!

– Клянись, Харько, клянись скорее, дурацкая твоя душа, а то донесу! ей-богу, донесу!

– Донosite, доносят! А мы на вас надеялись, как на отца родного; вы же нам, несчастным, беглым, советы давали, укрывали нас, кормили и обнадеживали нас...

– Я-то? Ах ты, глупец, дурак Харько! Когда я беглых держал? Да нет, ты не уйдешь от меня! Клянись, Харько! ты не понимаешь, что говоришь! Клянись! – повторял священник Левенчуку, указывая на святую книгу и сам между тем трухнув не на шутку. – Давай присягу, а то свяжу тебя и донесу...

Левенчук подошел.

– Так слушайте же, батюшка: вот что будет теперь. Бежал я с неводом от моря, как весть о пропаже Оксаны дошла туда с людьми. Поверите ли – все жалели, как я опрометью побежал оттуда! По пути, на перекрестках, на мостах, у переправ, везде жалели. Народ зашумел, грозитя, волнуется, – так мне ли терпеть? Два дня я бежал да вчера без души и упал в какой-то лощинке. Чабаны веберовские меня нашли,

в корчму перенесли. Меня оттирали, кровь бросил один жидок... Вон рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а все-таки добежал до Ананьевки, а после до Андросовки. «Что, спрашиваю у людей, правда ли это?» – «Правда, отвечают, и все жалеют и там да на полковника указуют, – что греха не хотим брать на душу, некому больше! Это уж как змей лютый, как волк; кто попадет, съест наверно!» Так-то, батюшка, говорят про него люди.

Священник смотрел на него исподлобья. Он его и жалел, вместе и боялся.

– Так я уж, батюшка, вот теперь как надумал: пойду его просить: может, я его умолю, а может, не умолю, в ногах валяться буду! Не даст – не гневайтесь, батюшка... зарок свой я порешу...

Слезы бежали на подстриженные усы Харько.

Губы его тихо вздрагивали. Глаза тоскливо следили за священником. Священника передернуло, он взглянул в окно, закрыл книгу и сказал:

– Ну, коли так, так с богом; я надеюсь, что полковник отдаст тебе Оксану. Нет у меня тебе благословения на злое дело; пожалей и меня, мои старые-то годы! А я сам буду писать Панчуковскому... Авось он отдаст Оксану. Да берегись только! Видишь, вон, твоего же приятеля Милороденко отыскивают, не уцелеть ему – в каторгу сошлют, проклеят, а все за его проделки! Вон и приметы его уже опубликованы. Так и с тобой тоже будет; берегись!

Священник сел, надел очки, с трудом написал письмо, открыл сундук, достал оттуда деньги и, заметя, что в комнате стояли уже в слезах дьячок и старая дьячиха, сказал:

– Вот тебе, Левенчук, это письмо; а вот и твои деньги; я грешен, я позарился на выкуп и задержал твоё дело. Ну, да бог тебя благословит; достанешь её – веди, обвенчаю и так; не достанешь её – не хочу твоего добра! Фендрихов, эти деньги вычеркни из книги той, знаешь? Им уже у нас не быть, на церковь-то...

– Где быть, ваше преподобие! Деньги несчастные!

Левенчук торжественно поклонился в ноги попу, даже поклонился и дьячку с дьячихой, вышел за двери, и не успела взволнованная компания выбежать на косогор, где так часто Оксана выжидала с поморья Левенчука, как и след Харько пропал.

– Что будет, то будет! – решил священник, возвращаясь домой.

– Ничего не будет, чувствую! – отвечал, всхлипывая, дьячок.

Дьячок ревмя плакал.

Шел Левенчук час-другой; солнце уже начинало садиться. Туман пошел яром. Вышел он на косогор и ударил себя в голову: «И тут не везет, треклятая доля. С дороги, на семи шагах сбился! Где же это я?» И он стал смотреть.

Стемнело. Дикае гуси вверху неслись к западу, чуть шестя над его головою. Семья дроф, испугнутых с ночлега,

поднялась во ста шагах от него и побежала в сторону, мелькающая между бурьянами. Ночные кузнечики трещали. Звезды зажигались. А в полуверсте огонек кто-то на ночь стал разводить...

Пошел Левенчук на огонек. Подходит: купеческая телега с товарами стоит; два купца на бурке лежат.

Лошади овес с оглобель из мешка едят, котелок каши варится на таганке. Поздоровался Левенчук с купцами, подсел к ним. Видят те, что он все вздыхает; выспрашивать стали. Рассказал все Левенчук, как от своей барыни бежал, как тут жил, как девку полюбил, и кто она такая, и как ее отца зарезали. Купцы переглянулись, стали живее его слушать. «Ну-ну, говори, миленький!» Все передал Левенчук об Оксане, что слышал от нее самой и от других, в том числе еще и от Милороденко, когда он впервые шел в эти места. «Куда же дели того зарезанного?» – спросил старший из купцов. «В Таганрог отвезли; там он и умер, полагать должно». Помолчали купцы, расспросили еще об Оксане, жалели о ней до крайности, советовали Харько обождать, не горячиться с хлопотами о ее спасении, направляли Левенчука с жалобой в суд и к градоначальнику и, наконец, посадив его силою с собою ужинать, объявили, что они сами торговцы, часто бывающие в азовских городах, торговали когда-то в Таганроге и в Севастополе, а теперь торгуют в Моршанске и что, если бы когда-нибудь Левенчук захотел бросить здешнюю бродячую жизнь, они ему предлагают место. «Дарма, что ты бег-

лый! видим мы, что ты за человек; отпиши только, и мы тебя вызовем. А писать так-то и туда-то. Да коли женишься на Аксютке-то, то и с хозяйкою своею приезжай! – заключили купцы. – А как твоего грабителя прозывают?» – «Панчуковский». – «Уж не он ли? – сказал один из купцов. – Верно, он и есть, барыня его у нас в городе чуть ли не проживает...» Усталый и истерзанный душою донельзя, Левенчук заснул под телегою, а купцы, долго еще лежа у костерка, поодаль от него и от своего возницы, толковали промеж собою, все повторяя: «Он и есть; некому больше! Скажем его барыне, а то она, сердечная, сколько лет его разыскивает»...

IX

Беглые расшалились

Рано до света Харько вскочил, оглянулся. Купцов уже не было. Перекрестившись три раза на восход солнца, он сооразил свою дорогу и пошел по росистым еще сумеркам.

Щегольской домик Новой Диканьки вырезался перед ним, когда солнце стало уже всходить из-за красных кирпичных овчарен полковника.

Левенчук подошел к первой овчарне. Оттуда только что вышли овцы. Не найдя тут пастухов, он пошел к батрацким хатам. Из батраков кто умывался тут на дворе, кто богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, а кто вел волов на водопой.

– Пан дома?

– Дома. А что тебе?

– В косари не нужно ли?

– А чего ж ты без косы?

– Бурлака, братцы!

– Так! Ну, иди же до конторщика. Там сегодня расчет за эту неделю.

«Воскресенье сегодня! а я и забыл!» – подумал Левенчук.

– Шинок у вас есть? – спросил он, усиливаясь быть развязным и веселым.

– Э, да ты, я вижу, хороший человек! Не угостишь ли?

– Можно. Где же тут у вас водка?

– Пойдем, пойдем! – ответил батрак, – откупщик тут всегда на косовичное время выставку становится. Он приятель барину! Вот и шинок наш!

Левенчук вошел в хатенку, где была временная выставка водки и где полковник обратно собирал по субботам большую часть денег, платимых рабочим в течение недели. Харько поставил новому знакомому полкварты.

– Рано немного, – сказал жид-шинкарь, – да хорошим людям можно!

Слово за словом, Левенчук узнал нравы барского двора – и когда барин встает, где его видеть можно, кто у него в дворне.

– Ты только крепись, – говорил хмелевший товарищ, – требуй хозяйскую косу и полтину серебром в день! Требуй – дадут.

– Ну, братику, а девка та, – спросил Левенчук, усиленно переводя дыхание, – та... знаешь, что от попа?... тут она?

Подгулявший батрак осмотрелся по хате. Шинкаря не было в ту минуту у прилавка.

– Тут... ты только никому не говори...

– Где?

– Наверху у пана живет... шш!

Левенчук вскочил.

– Куда ты?

– Будет уж, допивай ты, а мне пора в контору...

Левенчук вышел. Народ, собиравшийся к расчету, подваливал к шинку. Левенчук пошел к дому и не узнал сперва полковницкого двора: так этот двор изменился и уютно обстроился с той поры, как Харько сюда пришел впервые, неопытным бродягой и тут, встретившись с прогоревшим Милороденко, уступил ему свою порцию водки и тем ему сильно угодил.

Он ходил долго вокруг ограды, у ворот стоял, на мезонин смотрел. Видел он окна, вверху раскрытые, на балконе стул стоял. Он вошел во двор; прямо пошел к крыльцу и столкнулся на нем лицом к лицу с полковником.

– Ты косарь? – спросил рассеянно Панчуковский.

– Косарь.

– Очень рад, а это твой билет, что ли? – опять спросил Панчуковский, сося сигару и принимая от Харько письмо священника.

– Билет! – ответил Левенчук, сверкнувши глазами.

Панчуковский потянулся, взглянул на ясное, чудное утреннее небо, потом на первые строки письма – рука его дрогнула, он протер глаза, искоса посмотрел на Левенчука, дочитал, слегка побледнев, письмо до конца и долго не мог сказать ни слова. Письмо состояло в следующем:

«Владимир Алексеевич! Не будем обманывать друг друга. Вам сошли прежние ваши истории. Вы теперь похитили мою Оксану. Это общий голос, не отрекайтесь; да и некому

другому этого сделать. Умоляю вас, отдайте ее. Податель сего письма – ее жених, Харитон Левенчук, из таганрогских поселян. Отдайте девушку; вы уже ею, ваше высокоблагородие, насытились. Отдайте, пока она еще может быть им принята. Если прежние ваши действия остались безнаказанны, то за это новое – кара господня вас не пощадит. Богатство не спасет нигде до конца недоброго человека. Прахом пойдет оно у вас; вспомните глас старца, готового сойти в могилу. Эта кара близится. По духу же исповедника предупреждаю вас: не отдадите девушки, за последствия поручиться нельзя. Вам несдобровать! Послушайте меня. Ваш слуга *Павладий Поморский*».

Панчуковский постоял. Левенчук также не говорил ни слова.

– Отец Павладий ошибается! – сказал полковник, закусивши губу, – я этой девушки не знаю, и ее у меня нет.

Левенчук молчал.

– Ее у меня нет, и баста, слышишь? Скажи отцу Павладию, чтоб он ко мне не смел обращаться с такими письмами.

– Ваше высокоблагородие! – сказал, подступая, Левенчук, – какой вам выкуп дать за нее? Я попу соглашался выплатить за нее на церковь двести целковых, – возьмите триста; наймусь к вам в кабалу, в крепость за вами запишусь, – отдайте только мне ее!

Полковник пожал плечами и, оглянувшись, улыбнулся.

– Глуп ты, брат, и только! Глуп, и все тут!.. Ее у меня нет!

Левенчук повалился в ноги полковнику. Он понял сразу, что с этим человеком правдой не возьмешь, и потерялся, позабыл весь закал, весь пыл своего негодования и своей мести.

– Ваше... ваше высокоблагородие! – вопил он, валяясь в пыли крыльца и целуя лаковые полусапожки Владимира Алексеевича, – я дома на родине похоронил жену молодую, и двух лет с ней не пожил; здесь нашел себе другую. Барин! Отдайте мне ее! За что вы отняли ее у меня, погубили до веку нас обоих!

– Да говорят же тебе, братец, что ее у меня нет... Какой ты!

– Будет уж вам с нею, ваше высокоблагородие! Не губите ее. Отдайте, вы уж ею натешились... Будем знать одни мы про то! Отдайте...

Панчуковский отступил.

– Ищи ее у меня везде, коли хочешь; иголка она, что ли! Ну, ну, ищи! Не веришь?

И он вошел в сени, распахнул дверь в лакейскую, а сам стоял на пороге.

Храбрость бросила Харько. Он встал, начал глупо вертеть в руках шапку.

– Ежели я... – сказал он, задыхаясь от спершихся в горле слез, – ежели я... хоть чем, то убей меня бог!.. Господи!

Полковник поворотился к нему спиной и ушел в комнаты, посвистывая.

Оглянулся Левенчук по двору, повел рукой по снятой шапке, подошел к кухне, там еще постоял; во дворе не было ни души. Петухи заливались по задворью. Воробьи кучами перелетали с тополей на ограду. Левенчук пошел за ворота и сел там на лавочке.

Он сам не знал, что и думать. У шинка собирался народ. Конторщик пошел туда, а к барину в дом Абдулка рукомойник понес.

За ворота вышел, с трубкой в зубах, в белом фартуке и ухарски заложив руки в карманы, поваришка Антропка, тоже из беглых, малый лет двадцати трех, отъявленный негодяй, часто битый за воровство.

– Ты чего тут сидишь, сволочь? – отнесся он задорно к Левенчуку.

– Может, сволочь ты, – ответил Левенчук, утирая слезы, – а я за делом!

– За каким делом? проваливай! скамейка барская! вон, иродово отродье!

– А ты барский?

– Барский, полковницкий; я их холуй – значит, сторож; а ты убирайся вон, сибирный твой род!

И Антропка столкнул Харько со скамьи. Левенчук пошел опять к воротам.

– Ты куда, говорят тебе?

– Дело есть.

– Не ходи, побью.

– Э! Посмотрим...

– Что? как? это, значит, к полковнику наниматься идешь, да еще и форсишь?

Антропка подбежал и загородил Харько дорогу в ворота.

– Не ходи, ударю в морду!

– Попробуй! – ответил Левенчук, опомнившись и чувствуя снова прилив злобы и ярости.

Антропка ударил его в ухо. Левенчук зашатался и уронил шапку.

– А ну, еще! – сказал он, стоя бледный, как был, и выжидая нового удара.

– Бью! что же? ну, бью! – крикнул Антропка и опять ударил.

– А ну, еще!

– И еще бью! вот как!

Антропка ударил еще раз.

– А еще будет?

– Будет и еще! – крикнул Антропка, свистнувши снова в упорно-терпеливое ухо Харько.

– А! – зарычал в свой черед Левенчук, – теперь и ты уж держись; я тебе покажу, как добрых людей даром бить!..

И, как буря, он кинулся на поварчонка, смял его, как клок сена, сгреб под себя и стал его бить без милосердия по глазам, ушам и по затылку.

На неистовые вопли Антропки сбежалась вся дворня полковника, а мужчины и бабы его выручили.

– Кто это его, кто? – спросил Абдулка, явившись на подмогу другим, уже отливавшим водою до полусмерти избитого Антропку.

– Вот он!

– Кто это?

– А бог его знает кто! – отвечали бабы, указывая на Левенчука, входившего уже в шинок.

Абдулка побежал за ним вдогонку и на бегу, в сенях шинка, спросил сбиравшихся косарей:

– Где тут этот разбойник?

– Уж и разбойник! – разбойники те, что нанимают по два рубля, а расплачиваются по полтиннику! – ответили из толпы.

– Ты бил нашего повара? – запальчиво крикнул Абдулка, вскочив в шинок и с выкатившимися, расвирепевшими глазами став перед носом Левенчука.

– Я бил. Ну, а ты чего?

Лицо Харько было зелено, губы его дрожали.

– Э, до меня так скоро не доберешься! – крикнул татарин, озираясь по хате, куда уже, чуя грозу, начинали собираться любопытные с надворья.

– Посмотрим!

– Посмотрим!

Абдулка скинул поддевку.

– Выходи на простор, – закричал он, – выходи из хаты на простор!

Конторщик, бежавший сюда, стал было его останавливать.

– Не замай, Савельич, а то и тебе бока намну, – бешено зарычал Абдулка и вышел из хаты, сопровождаемый конторщиком и толпою и на ходу распоясываясь.

– Что это они до тебя? – спросили Харько оставшиеся в хате косари.

Левенчук бросил на стол три целковых.

– Пейте, братцы, за мою душу пейте! – сказал он тоскливо и вышел, также снимая свитку.

Не успел он показаться на дворе, как на него разом накинулись Абдулка, Самуылик и прежде побитый поварчук.

Первые двое стали его вязать, а озлобленный Антропка схватил полено и стал им бить Харько по чем попало.

Часть косарей приняла сторону Харько.

– Пустите его, что вы, душегубцы! ведите к барину, если он что сделал, – говорили косари. – Мы и сами пойдем жаловаться; нам расчет не тот дают!

– Нет, не поведем его туда! тут его живого в землю зароем! – бешено кричал Абдулка, колотя Левенчука.

Мигом Левенчука связали.

– В суд его, в стан! – горланила полковницкая дворня.

Побежали за телегой.

– Еще веревок! – кричал Абдулка. – А! ты в барский двор ходишь, да еще и дерешься! веревок еще! повозку скорее!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. Левенчук стоял связанный. Висок у него был расшиблен, и

кровь текла из-под растрепанных темных волос. Антропка, опьяневший от бешенства и от прежде полученных побоев, ходил возле него и громко на все лады ругался. Бабы пугливо жались к стороне.

– Готово? – спросил отважно Абдулка, спешивший выиграть время, – мы и барина не станем беспокоить! в суд его, разбойника!

– Братцы! – громко крикнул косарям связанный Левенчук, – они меня побили, связали, в суд хотят везти! А сам барин ихний мою невесту украл... Я, братцы, Левенчук! Попова девка за меня просватана была... Она у полковника тут взаперти... в любовницах. Спасите, братцы! не дайте праведной душе погибнуть!.. Спасите!

– Ну, еще рассказывать! – начал Абдулка.

Последних слов Харько не договорил. Абдулка, Самуйлик и Антропка схватили его и потащили к телеге, снова угощая побоями.

– Э, нет! – отозвался тот самый батрак, которого Харько угощал с утра, загороя им дорогу, – я сам пойду до барина! За что вы его бьете и тащите?..

– Да, да! за что? – говорили в толпе и косари, испуганными и озлобленными кучками сходясь к ним.

– Э, да что на них смотреть! тащи его! Самусь, садись, вези его! Антропка, бей по лошадям!

– Нет, не пушу! – сказал охмелевший батрак, загораживая лошадям дорогу.

Тут прибежали с криками остальные косари из шинка. Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука к повозке, другие отталкивали его назад. Весть о том, что это жених воспитанницы священника, украденной полковником, облетела всех.

– Нет, нет, теперь уж не троньте его, оставьте! – заговорили косари разом и оттеснили Левенчука от Абдулки.

Подгулявший батрак ударил по запряженным лошадям, гоня их с пустой телегой прочь. Самуйлик кинулся их останавливать, а косари в суматохе совершенно отбили Харько, распутали ему руки и выпустили.

– Отдайте мою невесту! – сказал тогда бешено Левенчук, став перед слугами Панчуковского. Это уже был не прежний хуторский пастух. Степи изменили его.

Абдулка, повар и Самуйлик остались одни против остальных.

– Нет у нас никакой девки!

– Врешь, есть! она наверху у барина вашего живет! – кричал Левенчук.

– Отдавай, а то силой возьмем! – гудели косари.

– Вот что выкусите! – ответил Абдулка, показывая кукиш, и пошел с товарищами к барскому двору, очевидно, потеряв надежду овладеть обидчиком закадычного приятеля, Антропки.

Левенчук, утирая кровь с виска, сел на крыльцо шинка.

– Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли с нами так

поступают. Собаки и те лучше нас стали жить на свете!

Приятель его, батрак, с форсом подал ему трубку, сел возле него и обнял его, заливаясь слезами.

Толпа между тем шумела: «Как! Быть не может! Так этого самого невесту? И им спускать? Не заступиться за него? Где же тому конец будет?»

– Пойди, братику, – сказал Харько батраку, откашливаясь и харкая кровью, – пойди, хоть осьмушку вынеси! Все печенки, ироды, отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали более и более.

Полковник между тем, уйдя от Левенчука, подбежал к окну в кабинете и долго следил из-за занавесок, пока непрошенный гость вышел за ворота. «Воротить его? Отдать ему разве Оксану?» – подумал он, но, почитав с полчаса газеты, успокоился, оставил дело так и пошел наверх к Оксане.

Оксана сидела в своей каморке, вышивая какую-то рубашку. Домаха сидела на полу возле нее, тоже что-то штопая.

– Оксана! хочешь домой? – спросил полковник.

Она не подняла глаз.

– Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? Неужели бросила бы? – спросил полковник.

Оксана встала, сложила шитье и поклонилась в ноги Панчуковскому.

– Пане! пустите меня, заставьте вечно за себя бога молить!..

В исхудалом, нежном и кротком лице ее кровинки не было.

Панчуковский хотел что-то сказать и затих. С надворья раздался страшный гул голосов, и одно из окон в мезонине зазвенело.

– Береги ее! – успел только сказать Панчуковский Домахе и выбежал на балкон.

Едва Панчуковский вошел туда, как увидел, что перед запертыми уже на замок его воротами стоит куча народу, а Абдулка, Самуйлик и конторщик бранятся сквозь затворы.

День между тем, как часто бывает на юге, неожиданно изменился. Вместо жгучего, острого суховея, доносившего с утра под узорчатые жалюзи комнат сухой и волнистый шелест горящих в зное нив, небо стемнело, облака неслись густою грядой и накрапывал дождь.

– Что это? – громко спросил своих людей Панчуковский, склонясь через перила балкона.

– Косари взбунтовались, – робко ответил конторщик, – не хотят по полтиннику брать, требуют по два рубля.

– Ну, так гоните их взащей!

– Мы стали их гнать, а они в контору ворвались, стекла перебили, мы едва успели ворота запереть – все распяно...

– Ваше благородие! – смело крикнул кто-то из толпы, – отдай девку! а то плохо тебе будет!

Взглянул полковник: вся толпа в шапках стоит. «Эге», – подумал Панчуковский, сильно струхнул и медленно вошел

в комнаты с балкона. Сойдя впопыхах вниз, он позвал к себе Абдулку.

– Что там такое? говори правду.

– Плохое дело! Косари перепились, а тут еще бурлака тот пришел, девчонку эту требует...

– Отдадим ее, Абдул! Черт с ней! Еще бы чего не наделали... Что они? в ворота ломились?

– Запалим! говорят. Да нет, Владимир Алексеич, не поддавайтесь. Коли что, так я и ружье заряджу и по ним выстрелю холостым, напугаем их, они и разбегутся!

– Что же вы? – гудела толпа за воротами, – где это видано, чтоб девок с поля таскать? Тут не антихристы какие! Мы найдем на вас расправу...

– Вон отсюда, подлецы! – закричал опять сквозь ворота Абдулка, не отпирая железного засова. – Что вы пришли сюда буяннить? Вон отсюда!

– Ломай, братцы! Топоры сюда! – уже без памяти ревела толпа, – не дают, так ломай! Пробьемся и возьмем силою у живодеров!

И в ворота снова ударили чем-то тяжелым, а потом оттуда наперли кучею все разом. Схваченные и прокованные железными скобами ворота только слегка заскрипели, но не подались.

Абдулка метался между тем, что было мочи, и ругался на все лады, грозя дерзким карою станового, исправника и самого губернатора.

– Что нам теперь исправники и ваши становые! Вы девку нашу отдайте! Тут наша воля, в степи-то нашей! До суда далеко! – выкрикивали голоса за воротами.

Полковник взбежал снова наверх. На площадке лестницы он натолкнулся на совершенно обезумевшую от страха Домаху. Старуха жевала что-то помертвевшими губами и, простоволосая, не успев накинуть на седую голову платка, дико смотрела на Панчуковского.

– Где она? – спросил полковник, идя поспешно мимо старухи.

– Там; это я ее заперла на ключ. Еще бы не выскочила к ним сдуру...

– Ну, береги же!

Он вошел в верхнюю комнату, бывшую к стороне ворот, и из-за притолоки окна увидел у ограды целый лагерь. Какие-то верховые явились... Народу было человек триста или более. Одни сидели, другие стояли или ходили кучками, как бы обсуждая, как исполнить затеянное. Трое лестницу какую-то с овчарни тащили. Остальные шли, разместившись по траве; горланили все.

«Вот и поди, живи тут в этой необъятной Новороссии, – мыслил Владимир Алексеевич, – тут чистую осаду Трои выдержишь; успеют и взять тебя, и ограбить, и убить, пока дашь знать властям хоть весточкой! Думал ли я дожить до этого? А! вон еще что-то замышляют!..»

Прибежал наверх, запыхавшись, поваренок.

– Что ты, Антропка?

– Конторщик просит кассу в дом внести; неравно вломаются, боится, что растащут.

– Вломаются? в ворота? Что ты!

– Да-с.

– Ты почему думаешь?

– Стало, можно, коли между ними вон беглые ростовские неводчики появились и бунтуют, как бы чего по правде не было, ваше высокоблагородие.

Панчуковский еще раз глянул из-за притолоки. Новая картина открылась перед ним. Овцы его бродили врассыпную без пастухов. Шинкарь откупщика, зная уже нравы таких событий в степях, с еврейскою предусмотрительностью запрягал себе лошадь за хатю шинка. А из двух батрацких изб, спустившись тайком в лощину, бежали вдали, по пути к камышам на Мертвую пятеро батраков, батрачки и мальчишки-табунщики потрусливее, со страху бросив в хатах и барское добро, и свои пожитки.

Панчуковский сошел снова вниз. В кабинете Абдулка быстро заряжал ружье.

– Вот я их! Я их!

И, зарядив, он пошел опять на балкон мезонина. Из толпы через ограду швыряли уже изредка камнями.

– Разойдитесь! – крикнул опять с балкона Абдулка. – Вас обманули; тут никакой девки нет! А плату сполна мы вам вышлем; только усмиритесь и не бунтуйте, братцы, вот что!

Град увесистых камней и побранок из толпы ответил на эти слова, через стены.

– Так стойте же! – крикнул Абдулка с балкона, приложился из ружья и выпалил.

Чей-то серенький конек заржал, побежал и, на пяти шагах споткнувшись, упал, убитый наповал в голову.

– Ты же говорил, что зарядишь холостым? – спросил, испугавшись, Панчуковский.

– Так им и надо-с! Шельмы, а не люди!

Осаждающие действительно были озадачены выстрелом, кинулись врассыпную и вдали, у хат и овчарен, снова стали собираться кучками. Кто-то громко грозил из толпы, что подожгут овчарни и батрацкие хаты. Другой топором помахивал издали.

«Что тут делать?» – думал полковник, ходя то вверх, то вниз по лестнице дома. Люди наскоро пообедали, и ему стали накрывать на стол.

– Есть у ворот сторожа, Абдул?

– Есть, Антропка с собаками караулит; я их с цепи спустил...

– Ну, как бы дать знать в стан либо в город? – спросил Панчуковский. – Я-то их не боюсь, да как бы не подожгли чего! Ведь такого дела и ожидать было трудно...

– Ночью разве Самойлу верхом пошлем, авось прорвется через них!

Встал полковник из-за стола. Пошел с Абдулкой опять на-

верх. Смотрят: к толпе осаждающих подъехал какой-то фургончик парой. Сидевший в нем о чем-то говорил с косарями. Вот собирается отъезжать, на дом полковника смотрит...

– Маши, Абдул, платком или хоть полотенцем помаши, авось заметят...

Сбегал Абдул за полотенцем, свесился с балкона и давай махать.

– Кажись, из фургона махнули! – сказал Абдулка.

– Это тебе показалось, уехали... Ну, что же мы теперь будем делать?

Осаждающие будто притихли к вечеру, пошли к шинку. Настала ночь. Разумеется, ночью не спала ни на волос вся дворня полковника, карауля везде, чтобы буяны не перебрались где во двор через стены или в ворота. Говорят, что сам полковник на цыпочках, в продолжение всей темной, сырой ночи, не раз обходил дозором все уголки двора, прислушивался к побранкам и к вольным песням неумнимающихся буянов и три раза кормил собственными руками постоянно голодных до той поры сторожевых собак, и те с охрипшими от надрыва горлами лаяли и метались по двору всю ночь. «Вот так Русь! – думал полковник, – чего только в ней не бывает!»

Ночью, под предводительством Самуйлика, была сделана, в виде рекогносцировки, вылазка со стороны осажденных к колодцу. Партия смельчаков состояла из самого Самуйлика, двух кухарок, повара и прачки. Они очень осторожно вышли, миновали овраг. Но за ними ввязалась одна из цепных

собак, наткнулась на сторожей у колодца, разлаялась, и их открыли. Поднялась тревога. От шинка двинулась куча в погоню. Смелчаки бежать. У самых ворот произошла свалка, и поварчука съездили сзади так по уху, что тот едва успел в ворота вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковник вздремнул было на ходу, прилегши где-то в зале на диване. Вдруг его будят.

– Что такое?

Смотрит... Окна дома ярко освещены. В зале стоят также освещенные, бледные от испуга, его советчики, Абдулка и Самуйлик.

– Что это?

– Избы батрацкие горят, огонь к овчарням перебрасывается... Это они; тот-то бурлака, верно, поджег-с!

Молча взошел Панчуковский опять на балкон.

– Отдайте нам девку! девку отдайте! – доносились голоса сквозь дождь с пригорка.

– Фу ты, пропасть! – сказал, в свой черед, не выдержав, Панчуковский. – Да что же это со мной делается? Иди, Абдул, бери Оксану, отдай им... Вот не ожидал!

– Мы уже ходили к ней, Владимир Алексеич; да она сама теперь напугалась: сидит и дрожит; боится и выглянуть на эти чудеса.

– С чего же это все нам случилось, Абдул?

– Жид-шельма, должно быть, удрал со страху; они, верно, разбили бочку и перепились.

– Кричи же им, Абдул, что я все отдам: и Оксану, и деньги, какие просят, чтобы только унялись!

Стал опять кричать Абдул, ничего не выходит. И звонкий дотоле голос его едва долетал через ограду, в шуме и в реве пожара, истреблявшего батрацкие хаты. А от шинка неслись звуки бубна и песен, несмотря на дружный дождь, шедший с вечера. Но небывалая ночь кончилась. Стало светать. Густые туманы клубились вдали. Пожар не пошел далее.

От толпы подошла к воротам новая куча переговорщиков; все они были пьяны и едва стояли на ногах.

– Что вам?

– Мы до полковника... пустите; мы за делом...

– Зачем?

– Дайте нам девку нашу да бочку водки еще; мы уйдем.

– А кнутов? – закричал, не выдержав, Абдулка в щель ворот.

– Нет, теперь уж нас никто не тронет; мы бурлаки, а бурлаков турецкий салтан берет теперь под покров!

Такие толки действительно в то время ходили между беглыми.

Пока люди полковника переговаривались с пьяными депутатами, сам Панчуковский, совершенно растерянный, сидел у письменного стола.

– Не догадался я, забыл послать ночью верхового в город или хоть к соседям; кто-нибудь прорвался бы на добром коне. А сегодня уже поздно: они оцепили хутор кругом и, как

видно, идут напролом! Поневоле тут и о голубиной почте вспомнишь.

Панчуковский написал наскоро письмо к Шутовкину, прося его дать знать об этих событиях в стан и в город, и позвал Самуйлика.

– Ну, Самуйлик, бери же лучшего коня да скачи к Мосею Ильичу на хутор, напролом; авось проскочешь... А ее я выпущу!

Вздыхнул Самуйлик, вспоминая собственные советы и предостережения полковнику, когда тот замышлял об Оксане. Но не успел Панчуковский передать кучеру письма, как с надворья раздались новые крики.

– Что там? – спросил полковник и подбежал к окну.

– На ток, на ток! – ревела толпа, подваливая снова от шинка, – скирды зажигать! Не соглашаются, так на ток! Небось выдадут тогда! Валяй, а не то так и нивы запалим!

Опять загудели крики. Пьяные коноводы направлялись уже к току. Душа Владимира Алексеевича начинала уходить в пятки. Но в это время вдали, за косогором, звякнул колокольчик. Ближе звенит и ближе. Застучало сердце Панчуковского. Он вскочил и взбежал в сотый раз вверх. Разнокалиберный люд столпился у шинка. Раздались крики: «Исправник, исправник!» Не прошло и минуты, как толпа мигом пустилась врассыпную, кто по дороге, кто к оврагам, кто в недалекие камыши. Кто был с лошадьёу, вскочил верхом; все пустились в разные стороны. В сизоватой дали, из-за ко-

согора, точно показалась бричка вскачь на обывательских. За нею, верхами же, скакали человек тридцать провожатых. То были понятия. Так всегда здесь в степи ездил на горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-лейтенант Подкованцев. За ним, также вскачь, ехал еще зеленый фургон. С форсом подлетев к растворенным уже настежь воротам Панчуковского, Подкованцев остановился, скомандовал понятиям: «Ловить остальных; кого захватите, в кандалы! лихо! марш!» – въехал во двор, вылез из брички, взошел, пошатываясь, на крыльцо и в сенях встретился с полковником, у которого, как говорится, лицо в это время обратилось в смятый, вынутый из кармана платок.

– Честь имею во всякое время, кстати и некстати, явиться другом! – бойко отрапортовал заливчатский капитан-лейтенант, постоянно бывший навеселе и говоривший всем помещикам своего округа «ты».

– Ах, как я рад вам! Избавитель мой!

Панчуковский обнял Подкованцева, поцеловал его, хотел вести в кабинет и остановился. За спиной станového стоял полупечально, полуослабившись, в той же знакомой синей куртке, рыжеватый гигант Шульцвейн.

– Какими судьбами? – тихо спросил, сильно покраснев, Панчуковский.

– Вы господину Шульцвейну обязаны своим освобождением от шалостей моих приятелей, беглых, если они вам что

плохое сделали! – сказал Подкованцев.

Панчуковский в смущении протянул руку колонисту и указал ему на развалины сгоревших и еще дымившихся изб.

– Да, – говорил, поглаживая усы, исправник, – меня господин Шульцвейн известил; он меня за Мертвою нашел! Эх, подлецы! кажется, мои беглые взаправду расшалились. Уж это извините; с ними тут не шути. Надо облавы опять по уезду учинить. Нуте, колонель¹⁰, теперь бювешки¹¹, пока моя команда кое-что сделает. Эйн вениг¹² коньячку! А не худо бы и манже¹³; я целых три дня ничего не ел, за этими мертвыми телами. Трех потрошил, лето – вонь... тьфу! Ты, впрочем, не удивляйся дерзости своих обидчиков; это у нас бывало прежде чаще. Одному еврею-с живому даже голову отпилили беспаспортники; я ее сам видел. Вотр санте!¹⁴ – прибавил исправник, выпивая стакан коньяку: – так-таки ее и отпилили пилой, да еще тупую; я ее и за бородку держал! Тут уж они в наготe-с!

Принесли закуску. Подкованцев уселся над икрой и над балыками.

Шульцвейн кряхтел, ухмыляясь, потирал себе румяные щеки и масляные кудри и, сильно переконфуженный, поха-

¹⁰ Полковник (*фр.*).

¹¹ От фр. *buvenc* – пьющий, любитель выпить.

¹² Немного (*нем.*).

¹³ От фр. *manger* – есть.

¹⁴ Ваше здоровье! (*фр.*)

живал возле окон. Улучив минуту, он отозвал Панчуковско-го в сторону.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, с видимым участием схватив полковника за руку, – неужели это правда, за что поднялись на вас эти негодяи?

– Что такое? Я вас не понимаю.

– Да о девушке этой-то: говорят, что действительно вы ее похитили?

– Вы верите? Не грех вам?

– Как тут не верить? Я вот просто потерялся. Вы знаете, я свои степи часто объезжаю. Мой молодец вчера мимо вас ко мне спешил из Граубиндена, увидел здесь это дело, расспросил и прискакал ко мне, а я уж поспешил вот к исправнику.

– Очень вам благодарен! Но могу вас уверить, что эти пущенные слухи – сущий вздор. Я не похищал этой девушки, и ее у меня нет.

– За что же эти буйства, скажите, эти поджоги? Удивительно!

– Слышите? – спросил Панчуковский вместо ответа, обратясь к исправнику: – Шульцвейн удивляется, из-за каких это благ я подвергся тут такому насилию!

– Могу вас уверить, – отнесся через комнату Подкованцев, жуя во весь рот сочный донской балык, – за полковника я поручусь, ма фуа¹⁵, как за себя! Это мой искренний друг, и дебошей делать никогда он не был способен – пароль до-

¹⁵ Признаться (фр.).

нёр!¹⁶

– За что же, однако, это толпа решилась на такие действия?

Панчуковский улыбнулся.

– Какой же вы чудаки, почтеннейший мой! Не знаете вы здешнего народа! Мой конторщик сбавил цену на этих днях. Многие стали с половины недели, а пришли к расчету, – все одно захотели получить и подпили еще вдобавок. Шинкарь перепугался, ушел, а они бочку разбили. Что делать! На то наша Новороссия иногда Америкой зовется! Ее не подведешь под стать наших старых хуторов: что в Техасе творится, то и у нас в Южнобайрацком уезде.

– Именно не подведешь, – гаркнул, утираясь, Подкованцев – еще раз, вотр санте! А теперь, поманжекавши, можно и за дела... Ну что, Васильев?

На пороге залы показался рослый, бравый мужик. Это был любимый исправнички сотский, как говорили о нем, тоже из беглых, давно приписавшихся в этом крае.

– Что, поймал еще кого?

– Шестерых изловили, ваше благородие, а остальные разбежались.

– Лови и остальных.

– Нельзя-с; в уезд господина Сандараки перебежали, граница-с тут за рекой...

– Вот и толкуйте с нашими обычаями; беда-с! Кого же

¹⁶ Честное слово! (фр.)

поймали?

– Да из бунтовавших главного только не захватили. Он еще ночью бежал, сказывают, в лиманы, к морю. Да он и в поджоге не участвовал-с, как показывают.

– Главный? Кто же он? Как о нем говорят?

– Будто бы из бурлаков-с, Левенчуком прозывается... Он за эту девку их высокоблагородия-с... за нее и буйствовал, и других подбил...

Подкованцев также подошел к полковнику, взял его под руку и отвел к окну.

– Экуте, моншер¹⁷. Ты мне скажи, по чистой совести: украл ты девку эту? ну, украл? Говори. Ты только скажи: я на нее взгляну только, а в деле ни-ни; как будто бы ее и не было... слышишь? Я только глазом одним взгляну!

– Ей-богу же, это все враки! никого у меня нет!

Подкованцев почесал за ухом. Серые глаза его были красны.

– Ну, Васильев, – обратился он к сотскому, – заковать арестованных и препроводить в город! Отпускай понятых из первой слободы, а там бери новых и так веди до места... Марш!

– Насчет же опять той лошади убитой, бурлацкой, – спросил сотский, – как прикажете? Это их человек убил...

– Как приказать? Сними с нее кожу, и баста!.. на сапоги тебе будет! Ведь тоже беглая!

¹⁷ Слушайте, мой милый (*фр.*)

– Теперь же мы в банчишку, сеньор! – весело заключил исправник по уходе сотского, обращаясь к хозяину. – А вы, мейн герр, хотите? – подмигнул он Шульцвейну.

– Нет, пора домой-с. В степь-с надо.

Колонист походил еще немного возле окон, взял шапку, простился и уехал, вздыхая.

Исправник же до поздней ночи попивал морской пунш, то есть ром с несколькими каплями воды, играл с Панчуковским в штос, выиграл десять червонцев, поцеловал хозяина в обе щеки, сказал: «Не унывай, Володя! мы дельцо обделаем и с виновных взыщем!» – и уехал, напевая романс: «Моряк, моряк, из всех рубак ты выше и храбрее».

– Адъё, милашка! – крикнул он Панчуковскому уж из-за ворот и прибавил: – Слушай, сердце! Мне часто в голову приходит: как я умру? своею смертью или не своею? Был я в походах с Нахимовым и чуму перенес... Бог весть! Стоит ли об этом думать!

– Как кому!

Исправник уехал.

– Ворота, однако, на запор отныне постоянно! – сказал полковник слугам, – благо, что отделались от одной беды; надо вперед остерегаться еще более...

– Аксютку же прикажете выпустить теперь? – спросил Абдулка по отъезде исправника, ухмыляясь и раздевая барина в кабинете.

Полковник развалился на диване и зевнул.

– Оксану-то?

– Да-с; что ее теперь держать? Мы разыщем другую...

– Нет! пусть, Абдул, она еще поживет. Я поеду пшеницу на хутора молотить, так ты ее тогда вперед доставишь... Да не забудь и самовар туда с провизией отправить, а то я тогда без чаю там просидел.

Полковник успокоился. События, однако, приняли иной, неожиданный, оборот.

Часть вторая

В силках

Х

Новое лицо – помещица из России

Дни клонились к осени. Жиденские новороссийские садики по деревням становились еще беднее. Лист падал. Обитатели деревень более задерживались в домах. Комнатные цветы принимались с воздушных выставок обратно в дом за стекла. Из окон чаще гремели рояли. Книги северных журналов и газет читались более. На токах усерднее стучали молотилки.

– Ну-с, – спрашивал Панчуковского залихватский волокита, купец Шутовкин, встретившись с ним у кого-то из общих знакомых на пиршестве, – так ваша красавица чуть было вас не погубила?

– Да, был грешок. Что делать!

– Новую осаду Трои изволили выдержать?

– Выдержал, Мосей Ильич, пришлось испытать, нечего делать!

Они, после сытного обеда, гуляли в затихшем, но еще прелестном садике.

– Каково же драгоценное здравие вашей Елены-с? Я, чай, уже с овалыцем теперь скоро будет? Моя же так давно уж с животиком переваливается.

Шутовкин сказал и, утираясь платком, засмеялся. Ему было душно. Вино и вкусный обед брали над ним силу.

– Ах вы, старый волокита! Не стыдно ли вам? У вас дети взрослые, учитель нанятой – почтенный студент... Смотрите, что о вас дамы толкуют, вы уж чересчур открыто действуете. Вон у меня тоже пленница живет, а так сокровенно, что никого не обижает, и все ездят ко мне...

– Не могу, не могу; это уж моя страсть к бабенкам ослепляет меня. Что мне свет? Живу здесь в волю-с!.. Я потому и о вашей спросил-с, извините меня... Я люблю дело начистоту, свечей не тушу никогда-с и ни при чем... Я ваших обрядов-с не соблюдаю. Раскольник-с, что делать!

– Смотрите, однако, не приударьте за моею! У меня нравы гарема; попадетесь – голову долой, и сейчас в мешок и в воду! Я ведь тоже сродни туркам тут сделался. Право, край у нас роскошный, привольный. Ведь сюда кто ни попадись, переменится. Люди тут какие-то другие становятся. Вот и с вами...

– Так, так, а все-таки, Владимир Алексеич, у меня крестины раньше ваших будут! – посмеивался Шутовкин, продолжая ходить с полковником по садовой дорожке, над обрывистым берегом Мертвой.

– Ах вы, забавник! Лучше покайтесь. Лучше скажите ва-

шему учителю, что срок его должку подходит, чтобы вез его скорее для уплаты, кому следует, я поручитель, и у меня уж веди дело аккуратно...

Купец был на этот раз немало выпивши за обедом, снял на воздухе галстук, весело переваливался, шутил, пыхтел и беспрестанно ухмылялся. Сперва стал он рассказывать, как выгодно сбыл сало, потом об акциях заговорил, наконец спросил совершенно неожиданно:

– Послушайте, полковник: вас тут некоторые не любят, считают гордецом! Правда ли, тут болтают, будто вы не вдовец вовсе, а что у вас где-то... извините... на Волге там, в России-с... жена законная есть, и говорят даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну, скажите мне откровенно, правда это? Если правда, то поздравляю, дружище, отлично сделали, что бросили и ее, и наши старые российские места-с!..

Панчуковский вспыхнул и остановился. Он долго не мог прийти в себя от неожиданного вопроса приятеля, искоса посмотрел ему в глаза; но Шутовкин шел по-прежнему беспечно, будто ничего не сказал, переваливался и утирал отвисший, полный и потевший подбородок.

Панчуковский вздохнул и посмотрел на часы.

– Мосей Ильич!

– Ась? что вы?

Он копался с подтяжками.

– Я долго тут остаться не могу, мне надо ехать.

– Куда же вы?

– Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, что я...

– Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же делать! Была жена, была... понимаете?.. а теперь нету, и у вас Оксаночка живет. Тем только и разница между нами: я вполне кучу себе всласть, а вы частицей...

– Мосей Ильич, слушайте: если вы меня любите, прошу этого вздора никогда при мне не говорить! Ну-с... Слышите ли? Я не стерплю этого в другой раз! Понимаете? Я давно вдовец, – повторяю вам, вдовец... лишился жены: в цвете лет она умерла, бедняжка, и я оплакиваю ее день и ночь... Эта сплетня мне особенно неприятна, и я прошу вас, требую именем нашей дружбы, услуги моей вам, молю вас – не упоминать ни мне и никому здесь другому о ней никогда. Жена моя умерла, и все, что я имел, явившись сюда, есть завещанное мне ее состояние. Я сам точно никогда ничего не имел. Так перед такими женами-с надо благоговеть, а не шутить, и да будет стыдно тому, кто осмеивает подобные чувства!

Панчуковский сказал это дельно, твердо, огорченным голосом и даже отвернулся.

– Ну-ну, не сердись, колонель! Ведь я пошутил. Я вас люблю, крепко люблю. А с нынешним вашим домашним благополучием вас от души и от всего сердца-с поздравляю. Товарищи мои, портовые купцы, смеются, что я живу нараспашку. А бес их побери! Что, однако, у вас за новый случай произошел после этой стычки с косарями?

– Какой?

Полковник ходил еще взволнованный и кисло посматривал на обнаженные ветви сада.

– Да насчет вашего лакея, татарина этого.

– Ах да, правда! Вот случай, вот жалость! Бедняжку этого, Абдулку, я посылал за расчетом в городок, в хлебную контору. Он деньги привез; но дорогою где-то, несчастный, поел в шинке порченой соленой рыбы, приехал домой, мучился сутки и сгорел так, что ничего не могли сделать, и доктор был... Я доктора из города на подставных вызывал... Вы знаете, я сам готов околеть иной раз, а уже для людей я стараюсь. Тут у вас в Новороссии мы не помещики. Вольный труд здесь нашего брата поневоле очищает, делает человеком. И за это искреннее благодарение вашим чудным, привольным местам...

Полковник оживился, повеселел. Он добродушно стал разглядывать тихие туманные виды окрестных степей, открывшиеся перед ними с пригорка, на краю сада. Голос его звучал мягче.

– Что за прелестные места, Мосей Ильич, посмотрите: вон алексинская церковь белеет, верхушка ее чуть сверкает в тумане; вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли земной у нас?

– А вы на выборы собираетесь?

– Какой вы чудак! Что вы о выборах вспомнили?

– Да так-с. Часто я думаю, отчего это мы, купцы, исклю-

чены из дела земства-с...

Они прошли еще несколько по саду. Из дома звучала полька. Барышни затевали танцевать.

– Скажите, однако, какое несчастье! – продолжал Шutowкин, – я все о вашем слуге думаю... Значит, у вас теперь лакея нет? Вы ищете нового?

– Нашел уже; благодарю вас.

– Где? Вот и отлично-с.

– У немца Шульцвейна, молодца из его хутора, что он возле Дону нанял. Спасибо немцу, хоть этим мне удружил, – уступил. Я его усиленно просил. Приходилось хоть самому сапоги чистить. Он у него рассыльным с осени был, такой проворный, бойкий, хоть и немолодой уже, кажется, человек. Он им доволен был, да раскусил, что он беглый, и отпустил его. Честный немец беглых недолюбливает. Трусит, боится, не то что мы с вами...

– Не Митька Базарный? Я того знаю: вор...

– Нет, Аксентий Шкатулкин.

– Аксентий Шкатулкин! Позвольте, позвольте, я что-то припоминаю: не было ли о нем публикаций? Должно быть, были. Верно из неводчиков достал? Вы не слышали?

– А прах их побери! Я их не разбираю! У меня все почти беглыми идет работа; оно лучше и дешевле. Разве когда от этого пострадаю! Мой штат вольный, как вы знаете, милости просим всех! Я на моих беглых, как на гору, надеюсь. Ведь проведай обо мне петербургские журналисты, они меня

за эти мои штуки со свету стонят. Да что на них смотреть! Я, впрочем, как был в Питере, знакомство с ними шапочное вел. Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошние, однако, лучше, зрелее и дельнее. А все-таки, Мосей Ильич, у нас лучше живется, чем у них. Не правда ли? Клад, а не землячка; уголок непочатый, своя Элебема и Висконсин: ведь так? Сколько вы, позвольте, за сало рассчитываете получить осенью?

– Да тысяч двенадцать серебречом опять в один раз получу.

– Ну, а я-с за мою пшеничку да за лен так тысяч сотенку целковых загребу... Ведь посев у меня теперь был сказочный-с. Так как же себя не побаловать бабенками после этого? Правда? В наших старых городах этих лакомств не знают настолько!

– Чуть, однако, беглые вас было не убили. Не мешало бы вам их побаиваться. Ну, да авось сойдет!

– Что мне их бояться! Деньги у меня припрятаны в таком местечке, что не скоро до них доберешься. В кабинете на стене и в спальне у кровати всегда готово оружие. Стены во-круг двора высокие, ворота надежные.

– Не в наружных ворах бывает опасность, дружище, а во внутренних. Вот что! Домашний враг опаснее всякого другого...

– Вы думаете? – Полковник оглянулся по саду. – Домашняя прислуга, – сказал он шепотом, – куплена у меня такими

деньгами, о каких здешним скаредам-помещикам и в голову не придет никогда. Я на мою дворню, как на самого себя, надеюсь!

– Да уверены ли вы, например, в этом-то новом, все-таки повторяю, своем слуге?

– В Аксентии?

– Да-с, в Шкатулкине, что ли, как вы сказали?

Полковник улыбнулся и опять по привычке посмотрел вокруг себя.

– Это, скажу вам, камрад, такое чистое, добродушное, простое и глуповатое создание, что прелесть! На днях я по ошибке дал ему для размена сторублевую вместо десятирублевой депозитки, впотьмах. Что же бы вы думали? Принес из алексинского шинка, смеется и говорит: вы только, барин, молчите, а мелочи дали лишних девяносто целковых. Я, разумеется, расщел свои деньги, вижу, что лишнего ничего не было. Но какова приверженность! А?..

– Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; знаете, какие слухи ходят: уезд наш наполнен фальшивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской Стрелкой, разбойник настоящий оказался; бродяги по донским дорогам пошаливать стали; почту уж с конвоем отправляют...

– Я спокоен и вам советую бросить лишние страхи.

– А ваша осада? Не подвернись приказчик Шульцвейна, не уведошь он исправника – ведь вы пропали бы даром, как муха-с...

– О, вздор какой!

– Вздор, подите же! А я повторяю, не будь у нас все так-то-с на Руси, где еще нагайка десятского да зычный крик капитан-лейтенанта Подкованцева-с тысячную толпу способны рассеять, аки ветерок облачка-с во поднебесье, то сослужили бы мы по вас панихиду-с, Владимир Алексеич!

Панчуковский, посматривая с пригорка, откуда и его Новая Диканька виднелась, курил сигару и посмеивался.

– Вы смеетесь?

– Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа и безобразна.

– Не шутите, полковник, с нашими тихими и добрыми мужичками, не употребляйте во зло их кротости и смирения-с. Я сам из мужичков-с, честь имею доложить...

– Вы, Мосей Ильич? Вы... происхождением?..

– Да, я-с, я был сибирским-с ямщиком, в юности в бабки игрывал, секали меня; землю пахивал своими собственными руками...

– Вы, вы?

– Я, я-с!

– Вот не ожидал...

И полковник невольно окинул глазами Шутовкина с головы до ног, будто впервые его видел.

– Чай, с презрением-с считаете меня дураком и за раскол-с? Дело нерешенное, ваше высокоблагородие. А я никому вреда не делаю. Заводы мои идут отлично! я на армию

свечи поставляю, в гильдию плачу; вон три воскресных школы на свой кошт соорудил в здешних городах и их содер- жу; книжек пропасть покупаю в Питере, хоть сам малость читаю; библиотеку в деревне у себя сочинить успел, – заез- жайте только читать! Картин из Москвы навез, почти всю выставку в последний раз там закупил, журналисту тоже там одному беднячку малую толику дал... Да-с. А войди ко мне в дом, на хуторе, где я живу, чего там только нет? И статуи из Греции-с, в магазине в Одессе купил, и фортепьян двое; цве- ты, ковры, бронза, всякие украшения, яства-с тончайшие, вина... Учителя-молодца держу при детях, вы его достаточ- но знаете, школю их, чтоб не дураками вышли; в Москву в университет повезу и тут же во здравие их новую там жерт- ву, что ли для науки этой, соблагодворю... А? Что? Чем же я не человек-то теперь, ваше высокоблагородие? Разве что в чинах только не произошел ничуть да в сенатских книгах помещиком не прописан...

Шутовкин разгорячился. За шейным платком снял сюр- тук, а наконец и жилет. Несмотря на серый денек, ему было нестерпимо душно. Он сел на лавочку.

– Эка душно-то мне, душно! Природа уж у меня такая сильная. Я и девочку эту не из блажи какой похитил. Что делать! Слаб есмь человек, да и все тут! Ну, а как Русь-то наша в опасности, не дай бог, очутится? Кто больше сыпнет деньгами-то? Я или вы, ваше высокоблагородие? Ну-ка, ре- шите? Что?..

Полковник ничего на это не ответил. Пошли приятели дальше по дорожке. Вечерело. Шутовкин опять оделся; сполз, пошатываясь, с берега к реке, умылся, освежился и окончательно стал молодцом.

– Толстяк, жирный волокита! Так-то вы меня все и зовете! А моя барышня у меня на свободе вон ходит, в почете и уважении. А ваша? за что вы ее томите одну? Хоть бы их познакомить нам, душечка, что ли?

– Чудак вы, право! Ваше положение и мое! Это два разные света. Не могу я так шутить своими отношениями к людям, как вы.

– Не можете? Гм!..

Шутовкин посвистал и опять сел на скамеечку.

– А правда, что вы уж и ребрушки помяли вашей красавице?

– Опять сплетни! Да оставьте их, ради бога; то о живой будто бы жене моей, то опять о каких-то моих жестокостях! И кто это вам мелет?

– Та-та-та! На-поди! Будто я уж вас и не знаю, камрад! Ведь вы зверь лютый; ну, что нежничать-то! Теперь вот я мелю с похмелья. А тверезый я этого, может быть, и не сказал бы вам.

Приятели еще потолковали и пошли в дом, где подали уже свечи.

Намеки Шутовкина, однако, остались не без последствий для полковника. Панчуковский стал еще осторожнее с зна-

комыми. В это время ему прислали из Вены и из Парижа множество вещей для последней отделки дома: бронзы, деревянных резных поделок, обоев, тканей, зеркал и ковров. Русский человек уже не может обойтись без того, чтобы, мало-мальски устроив свои дела, не затеять отделявать и превратить свой дом в подобие луврского дворца или, по крайней мере, магазина мануфактурных изделий, причем первые бранные барыши, потраченные с таким умом, обыкновенно на этом убивают и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смотреть на диковинки полковника. Он был на верху блаженства и, указывая на разгружаемые транспорты ящиков с мебелью, зеркалами, фарфором и бронзами, повторял:

– Да, господа, я не мот, но человек земли, праха... Люблю пожить, люблю довольство за его поэтические лучшие стороны. Уж на пустяки я денег не брошу; зато эти у меня разные-с дубовые, ореховые и березовые столики, кресла и диванчики – прямо от Кейзерлинга из Вены; эти подражания гобеленам – из Парижа... Все здесь чудеса рук первых артистов!

– Вам бы жениться, жениться! – повторяли старушки-болтушки из соседок, всегда падкие подкузьмить ближнего какой-нибудь застарелую внучкой или золотушною и кислую племянницей.

– О! Владимиру Алексеичу некогда о таком вздоре думать, о женитьбе; у него столько дела, хлопот! – говорили тут же на это сами внучки и племянницы, лорнируя мебель,

бронзы и гобелены, но в то же время не забывая изредка обратиться лорнет, будто бы нечаянно, и на щегольской сюртучок самого полковника, на его лаковые полусапожки, затейливую часовую цепь, с колчаном стрел и с луком купидона между кучею брелоков, а еще более взглядывали они на его убийственные раздушенные усики и на нежно-томные, губительные и вместе ласковые глазки, когда он стоял между ними и ораторствовал.

Женский пол, в знак особого уважения, не переставал посещать, в сопровождении мужского пола, счастливого обитателя вновь созданного в этой глуши хутора Новой Диканьки. А полковник не переставал ликовать.

– Что старая Диканька! – говорили некоторые из его друзей, – что из того, что ее вместе с старосветскою умирающею Украйною воспел Гоголь! Эта старосветская Украйна была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда выйдет его будущность. Давно ли вот на этом самом месте один ветер пустынный бродил, бурьяны, ковыль да чертополох произрастали, перекасти-поле прыгало; а теперь тут мигом вырос поселок, явился чудный дом, оживленное общество шумит, веселится, рояль гремит, чудеса света сюда стекаются.

– Искусственный плод все это! – замечали другие.

– Жениться, жениться, жениться вам! – продолжали в то

же время шушукать полковнику болтушки-старушки.

На их улыбки улыбался и он, по-прежнему ораторствовал, шутил, спорил и пускался в объяснение живейших вопросов современности.

– Это не человек! Нет, это какое-то божество! – говорили о нем дамы, возвращаясь иной раз с веселой прогулки целым обществом в Новую Диканьку.

– Ну, божество не божество, – возражали суровые мужчины, нагруженные всякими яствами и тонкими питиями до отвалу, – а человек он точно хороший. Главное – товарищ отличный; дока на дела и вместе не спесив.

Гости уезжали. Полковник садился за счеты, соображения, пускался бродить и ездить по хозяйству.

«Еще таких года два-три, – думал он, раскинувшись иной раз в кабинете на диванчике, с сигарой в зубах, – и я буду в полумиллионе чистого капитала! Тогда я произведу расчет всем делам, все мелочное обращу в наличные деньги – и... куда же тогда? В Петербург? Да, многим там можно будет пыли пустить в глаза таким капиталом! Сперва поважничая, вечера устрою там, вторники, что ли, или четверги. В финансовый мир попаду, станут ко мне ездить все действительные да тайные... Предлагать станут места... Разве в губернаторы тогда куда-нибудь поехать на время?.. Еще в министры так, пожалуй, попадешь... Вот, черт возьми, счастье! Да и женщин новых увидим! А дела пойдут все лучше и шире; устрою какое-нибудь общество на юге... Нет, Диканьки мо-

ей тогда не продам... А не лучше ли на старость куда-нибудь в чужие края, на Лако-ди-Комо или в Байский залив по пути сластолюбивых счастливых, римских императоров?.. В Диканьку мою станут путешественники съезжаться, смотреть на ее устройство... И как подумаешь, все дело рук одного человека... одного!»

– Барин, барышня прогуляться просится, – прерывал часто в такие мгновения мечты полковника новый слуга его, Аксен Шкатулкин.

Вслед за этим слугою и вся дворня начала Оксану звать уже барышней.

– Прогуляться? Что? Я не расслышал, Аксентий...

– Да-с, на воздух-с. Затомилась, должно быть, наверху...

– А! хорошо; иди ты с нею, побереги ее там, знаешь, пока...

Лестница тихо скрипела. В платочке, бледная, тихая, но такая же, как была, хорошенькая, Оксана пугливо и бережно спускалась с своей вышки, с мезонина, и шла освежиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и далее, в поле и к овчарням.

Ревнивый, или скорее чопорно-скрытный с товарищами, Панчуковский вовсе между тем не скрывался от своей дворни. Оберегательница Оксаны, старуха Домаха, иногда прихварывала, и полковник отпускал свою пленницу гулять либо с кучером Самойлой, либо с новым слугой Аксеном. Самойло и в прогулках не покидал своего мрачного настро-

ния, беспрестанно вздыхал, бормотал себе под нос не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое горемычное положение, что вот живет он теперь, как пес бездомный, что у него виду-то божьего нет, то есть паспорта, что заставляют его иногда нехорошие дела делать, и уж тут хоть что ни говори, а приказания барина послушаться не следует, и что кто его и похоронит-то, когда он тут без вести пропадет, без толку мыкаясь, а что в России у него и жenuшка брошена, и детки малые там есть, верно, плачутся на него, житье свое бесталанное и беспомощное проклинаят... Воркун был Самойло большой, на грудь он часто жаловался, что лошади полковника его как-то раз побили, когда он их наскაკивал в четверне. Походит Самойло с Оксаной за воротами, кнутиком по траве помашет и воротится. Скучно ей было ходить с ним.

– Дядюшка, пойдемте хоть чуточку дальше, вон к овчарням, либо хоть к тому вон колодцу дойдем! – говорила Оксана, похаживая по травке.

– Нельзя, сердце, нельзя! Барин увидит; пора уж и домой. Теперь тоже ходи с тобой, а там лошадей пора кормить, коляску помыть надо беспрерменно.

– Ах, какой же вы, дядюшка Самойло Осипыч! Ну, хоть вон на тот пригорочек, дайте я сама добегу. Ноги дайте размять, сердце мое, вся душа во мне изныла... Какой он вам барин!

– Нельзя, о, и не говори лучше! Барин морду побьет: тебе ничего, а мне каково, как уйдешь?

– Да что же каково-то?

– Да как ты убежишь, говорю, от меня вовсе-то?

– Куда? Я? Бог с вами, дядюшка! И что вам приснилось!

Самойло не сдавался и ворчал поминутно, не покидая Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. Оксана начинала плакать.

– Постылая-постылая, проклятая жизнь! Боже, господи, – говорила она, – хоть смерть пошли, хоть кару какую небесную, болезнь – чтоб я ослепла, горя своего не видала; чтоб красота моя пропала, чтоб и не смотрел он больше на меня, отказался бы от меня!..

Самойло вынимал из-за сапога трубку, набивал ее и, поглаживая седую широкую бороду, начинал дымить любимый тютюнец. Оксана смотрела вдаль. Слезы душили ее. Она старалась в сизом тумане разглядеть если не самый Святодухов Кут, то хоть бы путь к нему, хотя бы, среди печальных и обнаженных нив и сенокосов, холмов и ложинок, затерянную туда степную дорожку. По этой самой дорожке еще так недавно летел полный надежд на барыши студент Михайлов, невольная причина ее печального похищения. Вспоминаются Оксане еще недавние любимые ее песни, которым ее учила старая дьячиха. Она старается запеть их, стоя поодаль от Самойлы на пригорке, за оградой дома, но слова и голос ей не служат. И песни-то она будто уже все забыла. Она усиливается, напевает... Голос ее дрожит.

– Э, сердце! Да ты песни хорошие знаешь! Спой-ка еще,

спой; я барину скажу, ты и ему запой, он тебе подарит что-нибудь.

Оксана Самойле отвешивала низкий поклон.

– Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я жива, то не томите, меня в гроб заранее не гоните! Пропала моя честь, и душенька моя распропала... горько-с!

– Да разве тебе плохо тут жить-то, разве тебя не холят все? Или ты его и взаправду не любишь?

– Не спрашивайте меня про это; про это доля моя знает, бедная, горемычная... Маюсь я так-то у вас, почитай, как неживая...

Дважды, впрочем, в первые месяцы пыталась Оксана убежать. Один раз нашли ее на сеновале, куда она спряталась было, как-то уйдя до зари сверху из дому и ожидая, пока ворота отпрут. Потом она тайком переоделась в платье Домахи, повязалась ее старым платком, накинула на плечи ее шубейку и с ведром так дошла было уже до колодца. Но тут узнал и воротил ее поваренок Антропка. Сильно она просилась у него, молила его, кланялась ему, обещаясь заплатить за свой побег.

– Э, сволочь! – заключил на эти вопли Антропка, – еще на вас смотреть! С жиру беситесь! Марш назад, к барину-то! Чего слезы распустила! Туда же, в недотроги мостится!

И он ее силой воротил, притащив в самый кабинет полковника, которого, впрочем, тогда дома не было. Строгости надзора над Оксаною не прекращались.

– Пока она у меня, всем вам двойное жалованье, – решил Панчуковский, созвавший всю дворню по случаю этого второго приключения, – слышите? всем двойное жалованье, сколько бы времени тут ни прожила.

– Слышим, будем стараться-с!

– А тебе, Антропка, вот... за услугу!

Полковник бросил Антропке депозитку. Тот ему ручку поцеловал.

– Так я же, смотрите, не шучу. А уйдет, всех долой прогоню... Слышите?

– Будьте спокойны-с; мы уж не выпустим Оксанки-с.

– Да языки держите тоже на привязи; а выйдет что-нибудь какая сплётка, – кроме того, что прогоню, еще вздую. Слышите? плети! Ведь вы меня знаете.

– Слушаем-с, как не знать! – ухмылялась беспаспортная дворня.

– То-то же!

Полковник в тот же вечер, после нового побега, отправился наверх к беглянке.

– А тебе, плутовка, не стыдно? бросать меня, а? Ну, скажи, не стыдно? Что тебе отец-то Павладий? Лучше тебе там жилось, что ли, как ты там стряпала, дрова да воду носила?

Молчание.

– Домаха, уйди отсюда...

Домаха вышла за двери. Полковник с Оксаной остались одни.

– Оксаночка, не стыдно ли? Ты здесь, как у матери, в холе! А бросишь меня, – ведь я поймаю, что тогда будет? Ведь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчание. Полковник треплет пленницу по щеке, обнимает ее, целует, на колени к себе посадил.

– Ведь я тебя не упусти больше; ни-ни! извини уже, шалишь! Никому тебя не отдам...

Новое молчание.

– А поймаю – извини: на конюшне, душечка, высеку... О, я злой на это! Чик-чик, чик-чик! да!..

Оксана становится белее стены. Полковник обнимает ее еще крепче.

– Да, уж за это извини, я не люблю шутить! У меня будь, мое сердце, покорна – озолочу тебя, а непокорна – и сам прогоню, только прежде розочек всыплю... Ну, что же ты молчишь? Целуй же меня, ну, обними!.. Вот так! да крепче, крепче... еще!

«Боже, господи! Хоть бы ты убил меня тут! – думает Оксана, обнимая полковника, – или хоть бы я на это змеей была, чтоб от моих губ-то он сырою землю почернел!»

– Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердилась на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли убежать хотела и тебя простили, так смейся! Смейся же, говорю тебе, смейся!.. Вот так, так... Ну, а теперь опять целуй!.. так! и опять смейся!.. Покоришься, будешь по воле жить... у меня тоже мешаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковского, приневоленная, ластилась к нему, скрывала горе и муки свои. А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свет проклиная; ей особенно мучительными казались немые стены ее вышки, и она долго-долго, сама не зная о чем думает, смотрела все на узенькое окошко с железною решеткой в своей комнатке да на двери, будто все ожидая кого-то и будто не веря еще, чтобы ее мучению не могло быть когда-нибудь нежданного конца.

Зато с новым слугою полковника Оксана любила гулять в те дни, когда более и более хиревшая оберегательница ее Домаха не сходила по целым дням с своего коврика, от ее дверей, из темного уголка на верхней площадке лестницы. Аксентий Шкатулкин был человек уже не первой молодости, сильно потертый, как видно, и помятый жизнью. Он держал себя весело, но вместе с тем как-то степенно и набожно, как многие русские люди, окончательно положившие перейти от широкой и загульной жизни к покаянию, если только этому покаянию выпадало на долю действительно когда-нибудь осуществиться. Он ходил чистенько, не пил, не шумел, не бегал в шинок, тотчас сошелся со всею дворнею и часто молился вслух, особенно на сон грядущий. В его полотняной сумочке, когда он смиренно припелся от Шульцвейна к полковнику, оказались и были замечены дворней кожаный бубен с погремушками и святцы.

– Да вы, почитай, не из духовных ли? – допрашивали его

на первых порах дворовые полковника.

– О, никак нет-с! о, ей-же-богу, нет! Я простой-с... чело-вечек так себе-с...

– Так, верно, вы из музыкантов чьих-нибудь, того-с, тягу дали?..

– О нет! и это, ей-же-богу, нет! и не из музыкантов.

– Так зачем же вам бубен да святцы?

– Когда мне скучно бывает, я помолюся; когда же весело – в бубен поиграю...

– Бррраво! – закричал на это кто-то из батраков, – та-ких-то нам и надо!

Оксана, повторяем, не отказывалась гулять с Аксентием. Уйдет с ним за ворота, а там к батрацким избам, к овчарням, к колодезю, а часто и в поле. Сядет с ним на пригорке, слушает его, смотрит в степь на поля, как там на зиму под жито пашут, вороны за плугом ходят, или сама что-нибудь говорит Шкатулкину, облегчая душу.

– Вы вот, дядюшка Аксентий Данилыч, не то, что наш Самойло Осипыч.

– А как-с так, моя царица? говорите.

– Да вы вон тоже приставлены, а добрее его.

– Вы полагаете-с? Быть тому не может-с! Так ли?

– О как же! И еще я-с впервые, можно сказать, вижу такую услужливость, хоть вы и стары-с, дяденька.

– Вы полагаете? Так-с! пусть я стар. А вы бы меня полюбили, коли бы я, примером сказать, не холуй был, а тоже,

положим, полковник-с? Отвечайте на это, барышня, а?..

Оксана повеселеет от шуток Аксентия и часто, бывало, шутит с ним, смеется от души. Они в поле и в карты на виду у всех играли. Либо Оксана шьет, а Шкатулкин сядет против нее поодаль на корточках да посвистывает, в бубен играет. Полковник сам это видел иногда с балкона и хвалил Шкатулкина за услужливость.

– Вы, барышня, сиротка-с? – спрашивал Аксентий.

– Да-с. А вы?

– У меня не спрашивайте. Я непотребен-с...

– Как-с, непотребны? Это как-с?

– Я бродяга-с чуть не сызмальства. Отца-мать хоть и помню, да что толку? Мало они меня учили, что таким дураком стал.

– Жаль вас, жаль, дяденька...

– Да что меня жалеть-то? Говорю вам, что я никуда не годен-с стал. Вы вот лучше, барышня, скажите... правда ли это, что вы... дочь убитого беглого-с бедняги, бурлачка-с?.. того вот, что тут неподалечку когда-то был зарезан, тоже... извините... другим бродягой-с!

– Правда... ох, правда, дядюшка! я самая и есть... А вам меня жалко? Кто вам сказывал?

Шкатулкин мялся на месте, закидывался навзничь, посвистывал и опять вставал. День вечерел. Они сидели у колодца, над оврагом, в виду широкой зеленой поляны, по которой паслись овцы и лениво ходил пастух.

– Мне-то вас жалко ли? – замечал Аксентий, оглядываясь, – мне-то жалко ли?

– Да-с.

– Еще бы вас не жалеть-с, когда я... так сказать... с вашим батюшкой, выходит... с тем-то вот, значит, с зарезанным...

– Ну, ну?

– Я с ним, с вами, выходит, вместе и шел в это-то место, когда впервые бежал из России...

– Так вы, дядюшка?..

– Э! уж вы, барышня, и допрашивать? Скоро больно! Я только говорю вам, знал вашего покойника батюшку и мертвым его видел, как хоронили его, бедняка, в Таганроге; в больнице он и умер-с... А вас вот только девочкою видел... Только вы никому ни слова про то, слышите? А то меня откроют. Ведь я тоже несчастный-с, в бегах от господ... Я и убежал сюда. А вы молчите: что толку-то сказать! Я вам не помогу... Моему же барину, полковнику, я ныне привержен, аки раб рабский, и готов за него в огонь и в воду-с.

Читатель, разумеется, уже угадал, что Аксентий Шкатулкин был не кто иной, как давно нами оставленный Милороденко, некогда друг и вожак Левенчука! Судьбе угодно было, чтобы в новых подвигах своих, спасаясь от поисков нахичеванской полиции, он попал теперь именно в дом главного свата всех беглых в крае, Панчуковского, чтобы встретиться у него с Оксаной, о детской судьбе которой первый он же передал когда-то бедному Левенчуку, идя с ним глухими

дорожками на юг в степное приволье. И этой же судьбе, наконец, угодно было, чтобы Панчуковский, получив газеты от своего кровного недруга, отца Павладия, не прочитал в них публикации о последних беглых с описанием примет Милороденко и его страсти к светскому разговору.

Оксана между тем сильно обрадовалась, что встретила с человеком, хоть и преданным ее губителю-полковнику, но, как видно, с добрым, честным, разговорчивым и жалостливым. Ее радовало на ее скуке и то, что между нею и слугою полковника затеялось даже и нечто сокровенное, тайна завелась; он видел ее когда-то в детстве, видел и бедняка, ее отца, которого она сама не помнила, просил ее не говорить об этом никому, и она молчала, держала слово.

– Аксентий Данилыч, голубчик! – сказала она ему однажды, сидя с ним на крыльце и гадая ему в карты, – я все вам скажу, про все загадаю, только сослужите мне службу!

– Какую?

– Помогите мне уйти к отцу Павладию или известите его, дайте мне воротиться к нему! – шептала Оксана, оглядываясь.

Шкатулкин на это громко расхохотался, так и залился колокольчиком.

– Ах, вы шалунья, барышня! Да разве это возможно-с? Да меня полковник за вас щелчком, одним махом порешит-с! Что вы! Да я ему предан... я ему предан, как отцу родному. Куда! сказать правду, и родному отцу-то я вряд ли был бы

так предан.

Оксана смиряла пылкие надежды, просила ей хоть огурчика тайком пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь под ложечкой! голова все кружилась. Аксентий на это усмеялся, смекая о близкой радости полковника. Зато в другой раз сам Аксентий заводил такую речь:

– Барышня, а барышня!

– Что?

– У меня тоже к вам дело есть...

– Какое?

Это было в воскресенье. Самойле и Аксентию барином было поручено свозить Оксану в соседнюю греческую деревушку, в церковь, куда почти никто из православных помещиков не завертывал. Она давно просилась у полковника помолиться. Верные слуги исполнили приказ в точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вместе с тем помолиться. Аксентий вошел с ней в церковь, дал ей сделать три поклона, поцеловать образ, прочесть молитву и вывел ее обратно, «Будет-с!» – «А как крикнула бы я в церкви?» – шутила дорогою Оксана. «Э, вы не заметили, там наши батраки были... барин и об этом распорядился...»

Итак, Оксана спросила у Шкатулкина, какое же у него к ней дело. Они ехали в коляске. Самойло сидел на козлах, а Шкатулкин рядом с Оксаной внутри экипажа. Они говорили шепотом.

– Вы вот меня все за старика считаете, барышня, а у меня

душа молодая. Мне жаль вас, очень жаль, барышня! Скажите: что если бы настоящий-то... ваш милый, Левенчук, что ли, он вдруг явился бы к вам?

Оксана побледнела и чуть не вскрикнула. Аксентий ее вовремя остановил.

– Любите ли вы его по-прежнему, барышня, своего-то дружка настоящего, мужика-то, нашего брата? Любите? Или вы совсем...

– Не мучьте моего сердца, Аксентий Данилыч...

– Да скажите, любите? Или вы от барина уж не отстали бы?

Оксана склонилась на грудь, руки ее упали, слезы выступили из глаз.

– Люблю... я-то люблю Левенчука... да только в глаза-то ему как я теперь посмотрела бы?.. И как он теперь меня захотел бы вызволить?..

– В глаза? Он-то? Да!

Аксентий посвистал будто про себя.

– Как вы, а я бы еще сызначала штуку барину бы сделал...

– Какую?

Аксентий ничего не ответил.

– Грех вам, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...

Оксана залилась слезами.

Лошади добежали уже к хутору. Оставалось версты две.

– Дядюшка! – шепнула судорожно Оксана.

– Что, мое сердце? Фу, какая вы антиресная!

– Что вам дать за волю-то мою?

– Чем заплатить-то мне?

– Да.

Аксентий склонился к ее уху:

– Коли бы у вас хоть миллион был, барышня, а я, значит, моего барина, распредобрейшего Владимира Алексеича, ни за что бы не променял. Я пошутил-с! Будьте ему покорны во всем, аки я сам раб, смерд-смердящий, верен ему! Это вам-с мой совет.

Подъезжая к воротам, Шкатулкин сказал опять:

– Вы обо всем, что я вам говорил, ни гу-гу. Слышите?

– О! я-то никому...

– То-то же, барышня, а то ведь я и ножом пырну! Скажете – я, значит, пропал, а меня не замай – в острог-то не хочется...

Аксентий ловко отворотил конец рукава и за лацканом показал нож. Оксана помертвела.

– Это-с я всегда про запас ношу. А вы будто ни про что и не слышали. Я здесь чужой, и вы чужие-с... Выдадите про мои лишние с вами разговоры, ведь ничего не выиграете. Пожалуйте-с ручку, сударыня, приехали! Миль-пардон! – добавил он громко, уже у крыльца.

Ловко выпрыгнув из коляски, Аксентий свел Оксану еще ловче по ступеньке наземь, потом в сени.

– Вам бы нашей барыней быть, повелительницей, полковницей! – весело заключил он, снимая шляпу с кокардой, ко-

гда Оксана в яркой алой клетчатой юбке и в дорогом платке и монистах входила с крыльца в сени. Полковник начинал одевать ее щегольски.

– Лошадей выпрячь, да и выводить получше! – крикнул между тем полковник из окна кучеру, не без радости подхватя на лету слова Шкатулкина и самодовольно любуясь соблазнительною красотой Оксаны, ее здоровым полным станом, густыми русыми косами, побледневшим и слегка захудалым лицом, слегка впалыми томными глазами, и этим живописным украинским нарядом, шитою пестрыми шелками сорочкой, монистами и яркою алою клетчатую юбкой.

«О! теперь я за нее спокоен, она не убежит! – решил в восторге полковник, провожая глазами щегольскую четверню любимых лошадей, удалявшихся в мыле и в пене к конюшне. – Вот я поеду на торги, пшеницу продавать в Бердянск, и ее возьму, в театр повезу, еще платьев ей понаделаю. Наряды кого не соблазнят!.. Да, кажется, она уже и беременная... Все в ней хорошо; пылу только этого нет; какая-то вялая будто, тихая да молчаливая...»

Где-то у кого-то при каком-то разговоре у Панчуковского завязался спор о преданности владельцам крепостных дворовых. Полковник доказывал, что верность и честь – принадлежность одних людей благородной крови, что если есть звери породистые, то есть и люди породистые, люди белой кости.

– Я, господа, демократ в душе; но кровь, лучшие предания

человеческой семьи – это такие вещи, такие, что я...

– Ах, полковник, ваша правда! – перебила его соседка Щелкова, протискивая свой чепец и свой чубук в кружок, по обычаю обступивший местного Токвиля, – я вам расскажу свежий пример...

– Какой? Какой? – спросили слушатели.

– На днях я ездила к золовке моей, за Дон. На одной из этих скверных донских станций собралась огромная толпа проезжающих. Куча всяких подорожных лежала на столе, а лошадей никому не давали, – ждали какое-то важное лицо третьи сутки...

– Это ужас, ужас! Вот наши почты! вот злоупотребления...

– Не в том дело, – сказала Щелкова, – а вот в чем. Тут же сидела, скучая, одна почтенная и премилая дама, помещица из России. Она молчала, ни с кем не вступала в знакомство, вся в черном, и маленькая дочь с нею. Ее поразило необычайное происшествие: крепостной слуга ее мужа – кажется, покойного уже – мальчик лет двадцати пяти, на которого она возложила в пути все свои нужды, все чемоданы и ключи ему сдала, – этот мальчик, пользуясь хорошей погодой – а погода тогда стояла чудная, – выходил часто за ворота и на крыльцо станции... все смотрел вдаль, я сама это замечала, будто дивился нашим местам; еще подслеповатый такой был и как будто загнанный, скучный, смотрел-смотрел...

– Ну-с, ну?

– Да как был в одном сюртучишке и замасленном картузе, – и дал тягу в степи, пропал без вести.

– Это ужас! – шептали дамы.

– Какая же причина? – допрашивали мужчины.

– Гм! простая-с! – злобно и вместе насмешливо ответила, кашляя, Щелкова, – очень простая, как же вы не догадались! Уж это у нас народец такой, не вези его сюда! Как приехал, поставил нос по ветру, почуял волю – и драло! И край-то здесь, упаси господи! Мне что! Я больше вольными работаю; да где денег-то взять, где взять их нам, горемычным?

– Что же, нашли этого лакея?

– Куда вам его тут найти! И бежал-то он, как говорят, потому, что через барыню ожидал попасть в чужие знакомые руки. Так на станции ямщики после толковали.

– Барыня же это кто такая?

– Перепелицына. Я в подорожной смотрела, Перепелицына из Моршанска.

Панчуковский чуть не уронил стакана с чаем, бывшего у него в руке, и едва мог скрыть волнение, охватившее его при этой вести.

– Как вы сказали? – отнесся он, сколь мог свободно, к Щелковой.

– Перепелицына-с... Так мне сказали, и в подорожной так прописано.

– Где же она теперь?

– В Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, поеха-

ла.

– А мальчик?

– О нем она становому послала объявление и сильно-сильно была стеснена его бегством. Он, впрочем, ее не обокрал, и она его очень любила.

– Местечки-с! – насмешливо завершил этот разговор полковник.

После обедни у отца Павладия в одно воскресенье сидел в гостях причт другой вновь устроенной соседней церкви.

– Вы слышали, батюшка? – передавали весть Щелковой услужливые собеседники, – тут возле, по донскому тракту, ехала помещица, и ее лакей на дороге бросил?

– Нет, не слышал. Куда же она сама-то ехала?

– В Севастополь, что ли, – ответил соседний пономарь.

– Что вы, что вы! В нашем уезде, в нашем городе уже живет, поселилась и квартиру у моей тещи наняла! – возразил дьякон.

– Зачем же это она приехала? – спросил отец Павладий.

– По делам. Никого не принимает, живет тихо, в церковь только ходит к отцу Анисиму и, кажется, очень скучная. К дочке учителя искала.

– А лакей ее?..

– Так и пропал без вести; ключи от чемоданов унес, должно быть, по ошибке, а вещей ничего не тронул.

– А!

Панчуковский, неведомо ни для кого, нанял у колониста за Мертвою фургон и поехал за Дон. Там он легко нашел станового, которого имя узнал от Щелковой, явился к нему, будто бы от лица помещицы, у которой сбежал слуга, назвался чужим именем, предложил становому малую толику за справку, получил доступ к его переписке и с худо скрываемым трепетом сел читать объявление Перепелицыной о слуге. Становой, обрадованный в своей глуши неожиданно упавшею с неба манною, толкал из приемной своих грязных ребяташек, извинялся, что жена его нечесаная попалась гостю на крыльце, и передавал какие-то новые политические слухи.

Панчуковский впивался глазами в каждую строку простого, по-видимому, и незамысловатого объявления. Из последнего только, кажется, и можно было узнать, что вот бежал лакей Петрушка Козырь, а приметы ему такие-то, то есть почти никаких, как водится.

– Уж и край! – проговорил становой, как видно начитанный и литературно натертый малый, – вон этого зовут Петрушкой! Да если бы сюда Чичиков из «Мертвых душ» захватил, и его бы, кажется, Петрушка тут от него бежал, почуяв здешнюю волю, о которой они там на севере-с и не предполагают...

Панчуковский, увидев в бледном и смиренном, по-видимому, становом такие литературные занозинки, сдвинул брови, и, как ни занят был другими мыслями, резко спросил:

– Вы где учились?

– Из здешней войсковой-с гимназии исключен-с за стихи на инспектора классов-с.

– Гм! Когда же у вас времени хватает здесь за службой еще книжки читать?

– Находим-с. А вы тоже любитель просвещения?

– О да! да!

– И у вас книжки хорошие есть? Вот если бы почитать! Здесь один ученый журналист недавно проезжал на Тамань. Я узнал о его проезде через мой участок и тридцать пять верст за ним гнался, чтобы только увидеть его.

Панчуковский кашлянул, ничего не ответил и, кусая до крови ногти, опять стал перечитывать бумагу. Он встал, начал надевать перчатки.

– Куда же эта барыня проехала?

– Не знаю-с.

– Слугу не нашли?

– Где их тут найти! Помилуйте! У нас тысячи, десятки тысяч таких дел о беглых...

Панчуковский вышел на крыльцо.

– Одно могу сказать, – прибавил становой, в мундирном сюртучке сбегаю с крыльца к фургону, – я стал вносить дело об этом-то Петрушке Козыре в опись да по алфавиту наткнулся на дело еще другого Козыря... Последнее тянется уже лет десять и много становых на нем сменилось; оно об одном лакее, которого зарезал какой-то косарь; и этого лакея

тоже звали Козырем – он при смерти так объявил в больнице, где умер...

– Прощайте!

– Прощайте-с.

Панчуковский уехал, не дослушав последних объяснений станового. Его занимали другие мысли.

Становилась настоящая осень.

– Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчиков да лисичек? – спросил утром полковника новый его камердинер, Аксентий Шкатулкин, по своему обычаю весело посмеиваясь перед баринном, виляя добродушною и смазливою, хотя уже с седоватыми усами, мордочкой и играя живыми подвижными глазками. Он бережно и степенно одевал ноги полковника в сапоги, а полковник лежал на диване в халате и лениво раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? На душе его было светло-светло.

Полковник молчал. Солнце чуть глядело в окно. Камердинер снова заговорил:

– Я спрашиваю, сударь, не манит ли вас теперь поохотиться с собачками или хоть с ружьем? Деньки вот бывают уж серые, мороз морозит, туманчики в поле прохладные переливаются-с! Вот бы в степь-то... а?

– А ты разве охотник? Тише надевай чулки: там мозоль вон есть.

– Был когда-то-с я и в охотниках! Был, да мало ли еще чем я не был.

Шкатулкин вздохнул.

– Ты откуда бежал?

– Из-за Полтавы-с... Не верите? Ей-же-ей, не лгу!..

– И давно?

– Да лет десять-девять будет-с.

– Ну, скажи же ты мне, Аксентий, да по правде: где ты все это время бурлачил?

Аксентий умильно улыбнулся, кашлянул, сложил на руках платье полковника, стал в вежливую, вместе почти-тельную и шаловливую, картинку, губы сдвинул еще добродушнее, глаза окружил беловатыми, кроткими, смеющимися морщинками, брови насупил, вздохнул опять и ответил:

– Извольте, сударь, спрашивайте!

– Где ты был, я повторяю, за все эти девять, что ли, лет твоего побега?

– Везде был понемногу: где ночь, а где день, а где и того меньше.

– Так все бурлаки отвечают, а ты мне скажи по душе...

Аксентий засмеялся и глянул в сторону.

– Извольте. Спрашивайте опять, еще подробнее! – сказал он, шагнувши к полковнику ближе и опять свертываясь руками, ногами, головой и всем телом в ту же услужливую, любезную и вместе добродушную картинку, – я вам все открою-с, все... Ну-с?

– Я тебя будто видел где... Будто ты у меня когда-то или работал, или просился работать? Я что-то, братец, помню те-

бя...

– А может быть! Нет, барин, нет. Я вас вижу впервые. Везде перебивал я в этом краю-с, а у вас не был! Был я и в Киеве, и в Житомире-с, и в Умани, и в Одессе, и в Пятигорске-с, а у вас не был, ей-же-богу-с, не был! Что вы! Разве мне лгать?

Панчуковский зевнул.

– Чем же ты промышлял в бурлаках, до поры, как нанялся у Шульцвейна? Расскажи, брат, от скуки.

Аксентий опять кашлянул.

– Да не знаю, как вам и сказать-то...

– А что?

– Видите ли, сударь, вы холостой, вам можно сказать: господа это называют клубничкой-с! Я охотник, видите ли, до бабочек-с; люблю-с этот хрухт...

Панчуковский, не ожидавший такого ответа, сам прыснул со смеху.

– Как, как? Ах ты, шутник, что отмочил!

– Ей-богу-с! Я большой-с ходок по женским делам-с! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратил; видите ли, откровенно вам говорю: в ума помрачение впадал. И нет тут села, городишка, где бы я свиных дорожек к красоткам не топтал... Вот и седина уж пошла в усы и в бакены-с...

– Э, да ты мне находка, Аксентий! Я сам, братец, как видишь, любитель. С покойным Абдулкой мы многие дела решали. По правде, жаль его. Тут была у нас история из-за одной горожанки... Он мне тогда очень помог, и я этого нико-

гда не забуду.

– Да-с, слышал-с; тут и градоначальник, кажись, сердился?

– Так ты все знаешь?

– Как не знать-с. А теперь зато, ух, славная, сударь, девочка у вас от попа. Мы про нее еще у Шутовкина слышали. Я и у него работал-с: он тоже ходок...

– Да ты у меня смотри, однако, Аксентий, ее не отбей! Ты еще мне рога наставишь! – шутливо заметил полковник.

– Как можно, сударь! Я дела-то эти знаю-с. У меня тоже барин в России был-с, и я был ему тоже вернейшим холопом, рабом по гроб моей жизни-с. Меня и они по этим-то историям-с наряжали. И скажу вам, у барина моего все толстухи были, пудов по восьми-с, по десяти... Да что-с? я и здешнему исправнику-с, господину Подкованцеву, одну гречанку поставил, девицу неизмеримую-с, сущую королеву Бобелину-с...

– Так ты и Подкованцева знаешь?

– Служил им тоже недели две. Уж без этого нам, беглым, нельзя-с. А господин исправник здешний – сущий отец нам, бурлакам-с; без него наше царство пало бы-с. Ведь мы народ-с иной: по натуре своей живем. Ну, и бывают приключения; когда разгуляешься очень, непотребность какую сделаешь, он-то и вспорет, а велит у себя отслужить – и дело с концом. Далек не тянет. А то иной раз продуется он с господами морскими офицерами в карты и прямо уж нам ска-

жет: эйн вениг аржанчика¹⁸, братцы-бурлаки, – это, значит, денжат дай ему малую толику...

– И вы даете?

– Даем; как не дать! На то он наш отец-командир. Без него и невода-с по всему здешнему вольному поморью, и донские гирла, да и ваши, сударь, степные-то, вновь поселенные, хутора опустели бы. Что птицы вольные, так и мы, бродяги, любим волю; не тесни нас только, а мы от работы не бежим!

– А правда, Шкатулкин, что в донских гирлах, в камышах и возле Нахичевани беглые стали теперь паспорта печатать и всем раздают, а недавно стали и ассигнации стряпать? Как бы поживиться, братец, разменять этак сотенку-другую трехрублевых на ваши сторублевые?

Шкатулкин побледнел. Панчуковский этого не заметил.

– Не знаю, сударь, я по этой части не ходок-с... Мое дело сапожки почистить, коней или верблюдов напоить, в саду состоять. Как в старину, вон, шляхта говорила: «Кульбачить коня и хендожить буты». Вы – барин добрый, мы вас знаем; вы нас покрываете, содержите, и я бы вам сказал, да ничего не знаю... Чтоб мне почернеть, как та мать сырая земля, коли я что про это знаю.

Так объяснялся с полковником Милороденко-Шкатулкин, которого в то время именно земские власти разыскивали как одного из коноводов нахичеванской шайки фальшивых монетчиков и делателей паспортов.

¹⁸ Немного денег.

– На всякий, однако, случай, сударь, чтобы наш отец-командир господин Подкованцев не придрался к вам когда-нибудь за меня, то вот вам и мой билет.

Он достал из бокового кармана пачку бумаг, лизнул палец, отделил не без труда из них новенький паспорт и подал его полковнику.

Панчуковский покрутил носом и усмехнулся.

– Знакомое дело! – сказал он. – Зачем ты мне это даешь? Ведь я же знаю, что это не твой билет. Вон и подпись какого-то городничего, прямо несообразная.

– Как несообразная? это как-с?

– Да ясно – фальшивая, братец, и все тут!

– Нужды нет; держите. Я уж вам отслужу... И то я с вас против паспортных да вольных вполовину договорил жалованье!

Полковник взял билет, умылся, оделся, причесался и пошел наверх к Оксане. Пленница в эти дни уже не так строго содержалась. Она и по двору ходила, и в поле одна ездила с кучером в дрожках кататься.

Оксана особенно вдруг стихла и будто ожила, повеселела. Она заметно стала оправляться, а полковник начал невольно к ней привязываться. Заботы к ней и ласки становились без конца. Кроме Домахи, в услужение у нее показалась еще какая-то девочка. Оксана сидела наверху только днем, а комнату ей отвели уже рядом с кабинетом полковника.

Не успел полковник прийти к Оксане, пожурить ее за за-

творничество и свести, шутя и напевая, вниз, в кабинет, не успел он сесть на диван и посадить Оксану себе на колени, обнял ее и стал учить раскуривать папироску, – потайная дверь в одном из шкафов кабинета отворилась и из комнаты, отведенной Оксане, сквозь занавес просунулась любопытная голова Шкатулкина.

– Что тебе? надоед, братец! – сказал Панчуковский с досадой, что так нечаянно прервали его шалости с дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла к окну.

– Извините, сударь, я не знал, что тут ходить нельзя, сквозь эти двери. Тронул задвижечку, а она сама это – чик! и отворилась... Я сам даже испугался...

– Да зачем ты сюда пришел?

– Барышне, сударь, счастье послано-с, караван на верблюдах с виноградом пришел. Не купите ли-с? Свежий, преотличный!

– Ступай; я сейчас приду.

Шкатулкин вышел.

– Ты, Оксана, смотри, не бросай так ключа от твоей комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, все уж ходят через нее и в мой кабинет...

– Нет, не буду бросать ключа; я забыла...

– Пойдем же виноград новый покупать.

Полковник и Оксана вышли на крылечко. Солнце к обеду выяснилось. Туманы исчезли, и день сверкал чудным по-

следним осенним блеском.

У ворот толпился веселый люд, дворня и батраки. Ряд заманчивых, туго нагруженных крымскими плодами, двухколесных арб стоял под оградой. Высились двугорбые, длинноногие верблюды. Татары в низеньких шапочках суетились возле, вынимая напоказ синие и зеленые гроздья.

Полковник купил запас винограду, велел запрячь резвую четверку, сел с Оксаной в фаэтончик, посадил на козлы Шкатулкина и покатил в степь, с ружьем – не наскочит ли где-нибудь на дроф или на диких гусей, а то и на своих в поле посмотреть!

– А ведь у меня весело, Шкатулкин? – крикнул Панчуковский на козлы.

– Весело, и боже! как весело! Ей-богу-с, вы особый из господ! Я люблю-с таких, как вы...

– Четверня какво мчит, Аксентий?

– Подхватывает, ажио дух мрет... ух! так ажио, будто лижет кто, лоскочет за сердце...

– Не русскому ли, братец, тут житье?

– С капиталами оно точно...

– Как с капиталами?

– Да у вас, чай, сударь, казны достаточно?

Панчуковский помолчал и носом покрутил.

– Есть, братец, да и расходы большие! Все больше в обороте; дома... редко что есть...

– Ну, и дома-таки, верно, перепадает! Не может быть, су-

дарь! А вот я у немца этого Шульцвейна был, так антихрист даже без свечей по вечерам сидит; все рассчитывает и на это, скаред.

– Мирно он живет с своею женой?

– Все целуются-с, старые черти-с, ажио противно! Я более по лакейству способен, а они меня все по хлебопашеству пускали; ну, я у них к вам и отпросился. А как я был у Шутовкина купца, так тот, как свинья-с: либо пьян, либо деньги считает! А дом – дворец.

– Сударыня, поздний цветочек! – сказал нежданно Шкапулкин, вскакивая дорогой с козел, срывая цветок в поле и поднося его Оксане.

Та засмеялась, не брала его. Она хоть и покорилась, или, как отзывался о ней полковник, акклиматизировалась, но при людях еще сильно дичилась.

– Бери! – сказал полковник. – А ты, Аксентий, за свое? а?

– Я, сударь, уж Домаху-с вашу решил соблазнить! Вам молодка, а мне старуха.

Полковник смеялся от души.

Весело пробежали лошади верст двадцать в оба конца и на румяной, прохладной вечерней зорьке, все в мыле, снова подкатали полковника к крыльцу.

Темным вечером, после ужина, Панчуковский отпустил дворню спать и решил, однако, посмотреть, что делает его новый, такой развязный слуга. Он вышел на крыльцо. На площадке, на верхних ступеньках, лежали его сапоги, сапож-

ные щетки и стояла баночка с ваксой. У крыльца же, под окном, уже раздетый, в одной рубашке, несмотря на сиверкий вечер, стоял Шкатулкин. Он молился вслух на восток, вздыхал, зевал, почесывал себе грудь, руки и спину, поглядывал по сторонам и усердно клал земные поклоны.

«Слуга надежный, коли такой верующий! Это лучший признак! – подумал полковник и пошел в кабинет. – Спасибо немцу; хоть этим мне пользу настоящую сделал».

– Так ты, братец, набожный человек? – спросил слугу наутро полковник.

– Грехи замаливаю. Поклялся покаяться, остепениться. Вон, проседь в голову идет; дал зарок, без шуток, покаяться и трудом в мирные люди перейти...

– Ну, достал полковник слугу! – говорил отец Павладий дьячку, – ты видел? ведь это Милороденко у него.

– Видел.

– Ну, жаль же, что он газет тогда не читал! Да бог с ним!..

«Ах ты бедняк-бедняк, Харько! вот обработали, – рассуждал между тем как-то на крылечке Милороденко-Шкатулкин, наслышавшись вдоволь на месте уже, в Новой Диканьке, о происшествии с Левенчуком. – Ей-богу, и смешно и жалко! Да и задал же ты, братец, тут полковнику копоты, напугал его здорово. На добро я тебя привел сюда! Где же ты сам-то теперь, друг Хоринька! Вот бы повидаться! Наговорились бы, натешились, вспоминая былые времена, как я тебя-то

от омута избавил, утопиться тебе не дал и сюда на вольницу привел. Только, по правде, не по-кавалерски здешние кавалеры с тобою, вижу, поступили: вместо того, чтоб тебе самим-то женщин вдоволь по старине предоставить, а они у тебя же еще бабу отняли, девочку-невесту! Не то прежде тут было; свет не тот стал! Боком вся земля повернулась! Куда ни глянь, все уж здесь другое будто стало, а не прежнее, когда тебе, бурлачку, все, бывало, предоставляли. Тут вон уж и сечь-то нас, вольных, стали, и разыскивать строже. В города же и не поткнися: полицейский, смердов сын, зверем лютым стал, так и рыщет и норовит тебя либо в морду, либо за шиворот! Где же ты, Хоринька, где, однако? Вот я теперь десять целковых в месяц жалованья получаю; вот оно! А тогда? Получали меньше, да лучше жить было. Не попасться бы, однако, не узнали бы тут у полковника! Да нет, вся дворня незнающая. И барин сам не выдаст; а то прямо в Сибирь... Вон намедни одного бродягу снабдил я серенькою депозиткою... Что же? погубил его! Девятнадцать лет он у Небольцевых табунщиком был, а попался; повели бедняка сперва к его барину, а оттуда прямо на Урал пойдет. Он обиделся, ушел, прошлялся, а теперь через меня и пропал...»

Раз съездил полковник в город, заезжал там, среди разных коммерческих дел, на почту, и воротился перед вечером сильно не в духе. Он ездил один с кучером. Прошел он через лакейскую сурово. Шкатулкин над чем-то у стола здесь портняжил, быстро вскочил, принял с барина пальто и вы-

шел на крыльцо.

– Что это, Самойло Осипыч, барин наш сердитый такой приехал? – спросил он, сейчас прочитав на лице барина невзгоду.

– Из почтовой конторы вышел такой...

– Письмо, что ли, какое получил не по нутру, или денег от кого ждал?

– А шут его гороховый знает! – ответил Самойло, поглядывая с козел в окна, – откуда ему деньги! верно, письмо какое из Расаи получил.

– А барин сам откуда?

– Сказывают, с Волги, что ли; из Моршанска, надо быть... Служил в гвардии; да, должно статься, от долгов бежал сюда...

Аксентий дождался сумерек, внес в комнаты свечи, барину подал чай, и пока барин делал приказчикам распоряжения на другой день, сходил на вышку к Оксане, поиграл с нею и с Домахою по обычаю в карты, в свои козыри, и пошел к барину в кабинет постель стлать. Он вошел в кабинет со стороны зала. Перед альковом, где за занавесками стояла кровать полковника, он увидел на столике хлыст барина, шляпу и распечатанное письмо.

«А! – подумал он, – уж не обо мне ли розыски?» Подбежав на цыпочках к дверям в залу и в комнату Оксаны, он постоял, постоял, послушал и, будто убирая со стола, стал, нагнувшись, читать письмо. Прочтя его до конца раза два,

он положил его обратно на стол и задумался. Смысл письма, очевидно, давно лежавшего в конторе, через которую полковник не переписывался, был ему непонятен; тем не менее оно его заняло.

«Что за госпожа Перепелицына из Моршанска?» – думал Аксентий, склонясь над столом.

Вот что было писано в этом письме:

«Любезный друг, Владимир Алексеевич! Семь лет прошло с тех пор, как вы меня бросили. Я вам не мешала нигде: ни в вашей службе, ни в свете, ни в семейной жизни. Я жила в заброшенном, отдаленном городке; вы блистали в высшем кругу. Вам понадобилась в гвардии лучшая обстановка: вы потребовали мой капитал и дали слово, когда устроитесь с квартирой и с эскадронам, перевезти к себе и ту, которая для вас пожертвовала всем. Я тогда была больна от родов. Я вам, не кончив лечения, выслала полную доверенность. Вы взяли, вместо части, весь капитал. Вам понятно положение мое, когда вы приехали ко мне, в зимнюю страшную стужу, и объявили, что все мое состояние вами проиграно в карты в петербургском клубе... Вы хотели стреляться; вы были вне себя. Я вам простила, хоть осталась из богатой женщины – нищею. Вы сказали, что думаете начать другую жизнь, хотите бросить службу и заняться частными делами, что теперь это увлекает всех. Я снова осталась одна в том же маленьком, заброшенном, отдаленном городке. Я ждала вас год, другой,

третий. О вас пропали все слухи. Вы исчезли в толпе других, бросивших тогда столицы для частных спекуляций в губерниях. Наконец ваша участь стала меня терзать. Невежда, как вы меня когда-то называли, грубая провинциалка, дочь уездного малограмотного купца, я томилась в одиночестве, скрывала от всех причину вашего отсутствия. Я боялась расспросами указать на следы нашей страшной истины, ждала и ждала. Вы исчезли без следа. Смерть? Я уже с нею тогда мирилась. Но вы были живы и забыли о нищете. Семья от меня отказалась. Вы знаете, как эта грубая, алчная семья терзала меня и прежде за вас... Желая вам угодить, я занялась книгами, музыкой, тайком стала брать уроки. Мои средства скоро совершенно истощились. Затворница с детства, как вы меня знали, после двух счастливых годов, погибших навеки, я опомнилась, посоветовалась с двумя-тремя близкими людьми. Мы решили снова, что слухи неверны и что вас нет на свете. Я уже тогда была здорова. И как не вовремя явилось мое выздоровление! Тьма сгустилась надо мною. Я продавала мои вещи. Я стала ездить по монастырям. Саше нашей пошел уже девятый годок. Я была в Киеве, Воронеже, в Москве. Одна ворожка мне наворожила и сказала: „Он жив, он жив; моли бога только; он к тебе воротится и красоты твоей довеку не погубит!“

Володя, друг мой, жив ли ты? Что я, безумная! Ты не любил меня; ты, не любя, из расчета сошелся со мною! Ошибаюсь ли я, тобою брошенная, измученная, забытая, презрен-

ная? Не помяни, Володя, меня лихом, невежду-дикарку, если ты жив! Хоть в нищете живешь, хоть в нагольном тулупе ходишь, – воротись ко мне! Наши моршанские купцы, родня мне, проездом с Дону, о вас, Владимир Алексеевич, от одного обиженного вами бедняка прослышали. Вы ли это, или я, безумная, ошибаюсь? Но они говорили мне много странного, непонятного; будто вы в богатстве живете, развратничаете в том крае, слывете магнатом. Не однофамилец ли вы тому, кто мне глаза завязал? Объясните мне, пишите. Всему есть границы. Я долее не потерплю. Вы были в гвардии голышом; я вам одежду справляла, долги ваши платила. Слушайте: если... если я открою истину, если вы окончательно не что иное, как ловкий человек, как плут, замысливший поиграть мною, выжать из меня последние нужные соки и потом бросить меня, как негодный лимон, то я найду на вас суд и расправу. Билет в сто пятьдесят тысяч серебром, вероятно, теперь не проигран. Сроку я вам даю месяц... Следы ваши я открою теперь во что бы то ни стало... Я даже сама тогда явлюсь к вам... Ваша покорнейшая слуга Настасья Перепелицына.

P. S. Так я подписываюсь своим прежним именем. Приобретенного после я не уважаю. – Володя, родненький, или ты шутишь, не погуби меня... Пощади!»

В конце письма стояли год, число месяца и адрес писавшей, то есть Моршанск.

«Кто же эта госпожа Перепелицына? – продолжал думать Милороденко, облокотясь на стол и держа в руках простыню и подушку с постели полковника, как будто продолжал стлать ее, – верно, его любовишка. Да и хват же барин!.. да и денег же должно быть у него вдоволь: десятками тысяч владел! Так и есть: верно, купеческую дочку соблазнил и стянул капитал любовницы; так бы и мне с моей барышней сделать... Дурак был!..»

В комнату с шумом вошел Панчуковский и прямо кинулся к столу.

– Что ты тут думаешь, Аксентий? – крикнул он в досаде.

– Я-с? Что вы-с! Я постель стелю-с...

– Постель стелешь?

Полковник подозрительно посмотрел кругом и накрыл письмо на столе записною рабочею тетрадью.

– Стели же, пора, да иди! Меня приказчики разбесили...

– В секунду-с. Я, вон, ходил к барышне; в карты с ними поиграть: ловко играют-с; обдули нас с Домахой; по носу били!

– Постой, однако, – сказал будто в раздумье полковник, все еще глядя на стол, где лежало письмо.

– Чего изволите-с?

– Дай вон мне с того шкафа из журналов «Отечественные записки»...

Милороденко пошел к полке. Панчуковский на него смотрел в волнении.

– Не то; ты берешь «Библиотеку для чтения»; прочитай надпись – видишь? Мне нужны «Отечественные записки».

– Никак нет-с, не могу-с... не знаю-с...

– Разве ты неграмотный?

– Неграмотный! – простодушно ответил Милороденко. –

Э, сударь! когда бы я был грамотный, я бы в писари нанялся, да и нашей-то красавице книжечки бы читал! Меня еще мой барин принуждал читать. «Я, – говорил он тогда, – тебя, Аксентий, в приказчики приготавлию, учись!» Что ж, туп я был, так и остался... Как чурбан, бывало, стою и смотрю в книгу: там «ма» сказано, а я говорю «ва»...

«Ладно!» – подумал Панчуковский и, как будто мимоходом, быстро спрятал письмо в стол под замок, а требуемую книгу взял сам.

– Теперь иди, голубчик Аксентий, спать; я сам разденусь.

Буду еще читать и счета сводить сегодняшние...

– Счастливо, сударь, оставаться! Да богу господу помоли-тесь; он всегда покой дает. Я вон был буян и кутила; а таперь молюсь и чувствую покаяние.

– Ты думаешь? хорошо!

Ночью Милороденко снова подкрался с надворья к окну барина и стал смотреть: сквозь просвет в занавесках была видна часть комнаты. Полковник сидел перед письменным столом; на столе лежало то же самое письмо. Лицо полковника было пасмурно. Он грыз усы и ногти, закидывался на спинку кресла и два раза хватался за голову. Потом Пан-

чуковский встал, достал из особого ящика ключи, выбрал один из них и нагнулся со свечкой к боковой, гладкой стороне стола. Милороденко не было видно, что он там стал делать. Верно, открыл какой-нибудь потайной ящик, потому что достал оттуда много бумаг, стал перебирать, вдруг оглянулся – замер было, будто послышав от комнаты Оксаны шаги, переждал, вскочил, добежал туда, удостоверился, что эти двери заперты, сел опять и стал снова копаться в бумагах... «Э, верно же, все про любовницыны угрозы соображает! А в том-то ящике, должно статься, и его деньги!» – подумал соглядатай.

Далее Милороденко ничего не видел. Возясь над столом и зацепив за занавеску окна, Панчуковский невольно уничтожил остальной просвет в стекле и тем прекратил последнюю возможность наблюдений над собою. Милороденко тихо спустился с откоса фундамента; держась за водосточную трубу, стал осторожно на землю, вошел в сени, почистил сапоги барина и стал опять, по обычаю, у крыльца усердно вслух молиться, собираясь спать, вздыхая и почесываясь. К его молитвам привыкла вскоре и вся дворня.

XI

Отдача долга

Шутовкин передал учителю поручение полковника, и бедняк Михайлов, прогоревший на неудачной афере со льном дотла, взял у хозяина все свое заслуженное жалованье, занял еще часть у соседа под часы, сосчитал сумму и поехал, вздыхая, к отцу Павладию расплатиться с весенним долгом. «Проклятые чумаки! подвезли столько льну, что совсем разорили! – думал студент, – не удались мечты!»

Святодухов Кут много изменился с тех пор, как в чудную майскую ночь молодой аферист летел сюда с радужными надеждами на барыши и в то же время добровольным соглядатаем тайн тихого и уединенного уголка.

Теперь он с тоскою вступал в осиротевший, печальный двор отца Павладия. Совесть грызла его невольно, не сознавая тогда могущих быть последствий, и он был замешан в грустной драме, смявшей счастье этого смиренного приюта.

Двор студенту показался как-то особенно пространным, а церковь совершенно низенькою, и маковка ее уже будто не так сверкала золотом, как в ту улетевшую чудную, привольную и незабвенную ночь. Роща стояла безлистая, обнаженная. Сквозь ее редкие вершины уныло синел пруд. Ветер пошвыстывал, обрывая с веток последние листья. Дом священника был стар; побелка на нем потемнела от дождей, а ме-

стами с его стен осыпалась глина.

Подъехав на этот раз в тележке хозяина, Михайлов пошел в ворота и у плетня под сараем увидел священника. Отец Павладий с топором копался над колесом, остановился и сразу не узнал гостя.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте... Кто вы?

Священник наставил к глазам ладонь.

– Вы меня не узнали?

– Извините, не узнал...

– Михайлов.

– А! теперь узнал... Что вам нужно? Деньги, что ли, привезли?

– Что это? вы сами с топором работаете?

– Да! нечего делать; надо же чем-нибудь жить нам, горемыкам. Сам теперь вот я и лошадей пою, и свиней кормлю, и дрова рублю, и все починая! Что делать! Такова уж наша участь!.. Была прежде и работница, да ваш же Дон Жуан украл, свел ее со двора...

Михайлов молчал. Кровь хлынула ему в голову.

– Я в этом не виноват! – сказал он, растерявшись.

– Что же вам угодно, однако? – сухо спросил священник.

– Я вам деньги привез; благодарю за ссуду...

– Пожалуйста в комнату; я сейчас туда приду за вами. Извините, теперь у меня прислуги нет, молодой человек. Так-то-с; не прогневайтесь... Уж чаю некому подать-с!

Михайлов пошел, думая: «Да, поделом мне! Дело скверное, а началось оно и сделалось почти через меня!»

Он печально вошел в комнаты. Там было все по-прежнему. Тот же запах воска и ладана, та же чистота, те же свежие скатерти, пучки трав у образов, журналы и газеты кипами по столу и по стульям. Он взглянул: многие были не разрезаны, а другие даже в пакетах нераспечатанные. Вошел отец Павладий.

Сняв шляпу, он остановился у порога. Тот же подрясник, тот же гарусный старенький пояс на нем; та же красноватая мясистая лысина и утлая косичка, перевязанная полинялою ленточкой. Но маленькие, красные, вспухшие глазки были будто еще меньше и печальнее, борода заметно побелела, и лицо осунулось. Он размахивал серою пуховою шляпой, собирался все что-то сказать резкое и суровое и не говорил.

– Ну-с, молодой человек, ну-с, так-то-с; да, спасибо вам, одолжили! Очень, очень вам благодарен! Просто разодолжили, – профессоров ваших надо благодарить...

Студент сидел, не поднимая глаз.

– О чем вы это говорите, отец Павладий? Разве я...

– Я говорю о вашем друге, о господине Панчуковском. Спасибо вам и ему за внимание. Берега нашей Мертвой ознаменовались таким романом, который бы прямо на бумагу, да и в журналы! И чего вы медлите его опубликовать?

– Да вы ошибаетесь, отец Павладий, вы смешиваете меня с полковником... Что же общего у меня с ним?

Студенту было совестно; он понимал, что кривит душою, он тогда угадывал затеи полковника.

– Что нам, современным людям, – продолжал священник, не отходя от порога, продолжая нелепо размахивать шляпою и не слушая Михайлова, – что нам бедные люди, всякие голыши сельские!.. Ограбить их, осмеять, отнять у них последние утешения и радости! Вот что. Да-с. Мало вам, господа, гребчих да городских продажных красавиц! Вы на наши тихие захолустья взъелись! И тут вас недоставало! Подло-с, да, подло! Извините.

– Да послушайте, что вы! Разве это ко мне относится?

Священник с досадою бросил шляпу на кушетку и сел на стул. Потом он опять вскочил и схватил со стола какую-то книжку.

– Ну, читайте, читайте! Что тут пишут, а? Порочат зло, проклинаят ложь, насилия и неправду! А вы что сделали? Куда же ваши повести после этого годятся, ваши комедии и драмы, когда вы, ученый человек, с вором съякшались, – с вором, который по ночам гарцует, в чужие дома врывается и все безнаказанно творит, благо для этого есть у него деньги, связи и положение в свете? Я же везде искал и везде получил отказы на него! Для меня в этом деле все погубло, все! Он смело и явно купил все свое дело, все свои новые утехи...

Священник замолчал. Грудь его тяжело дышала, руки тряслись, лицо побагровело.

– Позвольте вас спросить, наконец, господин Михайлов,

отвечайте мне: для чего вы захотели спекулировать? Вам деньги были нужны?

– Да-с, я вам тогда говорил зачем, – ответил студент, теребясь более и более.

– Но вы обеспечены чем-нибудь? Уроки имеете? Зачем же и вы захотели еще более доходов? Отвечайте! Потребность времени, роскошь? Зачем вам были нужны эти новые барыши, за которыми вы погнались, заняв у меня деньги?

– У меня мать старуха в Одессе, дочь убитого поручика и жена бездомного капитана, моего покойного отца. Ей есть нечего на старости.

– А! У вас нищая мать! Вы для нее! Так зачем же вы не медленным трудом захотели улучшить свое и ее положение, а кинулись на быстрые барыши? То-то и дело! Где нечестные скорые доходы, там и товарищи-подлецы под руку попадают. Так-то-с... Уж вы извините меня. Пожалуйте деньги-с... Я свое сказал. Хоть вы и не совсем виноваты, а хвост, батюшка, замарали... Не говорите: вы знали его умыслы...

Священник судорожно сосчитал поданные деньги, сходил в спальню, вынес оттуда расписку студента и резко подал ему.

– Слушайте, господин Михайлов! Вы еще молоды; много надежд у вас впереди; а я уже мертвый человек: одною ногой стою в темной могиле и другую тоже заносу туда. Кончайте получше курс ваших наук, да не кидайтесь на болезнь нашей Новороссии, на ее торговую горячку. Немало огромных

средств и дарований она унесла к гибели; артистов сделала взяточниками, публицистов-с некоторых – ворами; оско-тинит она, погубит и вас. Осмотритесь, приглядитесь к жизни: жизнь не терпит скачков! Вот хоть бы у меня мой садик и роща. Они теперь хороши. А ведь я тридцать лет сидел и тридцать лет трудился над ними! Читайте, учитесь, работайте... Извините меня, старика. Вы что более всего любите? Ну, скажите мне, что?

– Естественную историю, музыку-с... Особенно музыку...

– Ну, из естественных наук займитесь хоть ботаникой, степные травы собирайте, сушите; ведь имя составить себе можете одним здешним травником. Да Гумбольдта-с, Гумбольдта читайте, а не на манер бердичевских факторов маклакуйте! Или хоть нашими украинскими песнями займитесь. Эх, что за прелесть эти песни! Когда я был еще в Чернигове в бурсе, я много ими занимался и пел их пропасть со скуки, гуляя в семинарском саду да зубря мертвящие латинские вокабулы. Жена же моя, покойница, их отменно пела... Так-то-с! Украинские народные песни создадут еще со временем своих Моцартов-с...

Михайлов просидел у священника до вечера. Много переговорил он с ним, а еще более переслушал. «Эка дельный человек! – думал он о нем, – и в какую глушь закинут!»

Простился он с отцом Павладием, растроганный до глубины души. Он клялся заняться науками, бросить аферы.

– Прощайте, господин Михайлов. Желаю вам счастливого

пути в вашу Одессу, да не возвращайтесь более сюда!

– Как можно! Я еще хочу взглянуть на ваш очаровательный Святодухов Кут, на ваши ключевые воды, на ваш сад и пруд!

– Пропадать им, видно, как и всему тут! Вы, я чай, слышали, какая участь постигла моего бедного помощника, дьячка Фендрихова?

– Нет, не слыхал... Что такое? Боже! вы меня пугаете. Я его помню, видел его у Щелковой...

– Он после Покрова, нынешнюю осень, ослеп...

– Ах, бедняк! Где же он теперь? Вот бедняк, право!

– Да тут еще у меня на кухне живет; изредка в церковь на клирос ходит, только совсем ослеп, как есть. Должно быть, ветром на него каким пахнуло или роса такая пала. В две недели и ослеп... Или, скорее, просто такая уж, верно, ему судьба была на роду написана.

– Так вы теперь одни?

– Нет, его жена мне помогает, но у нее свое дитя есть; а я выписал, жду вот племянника к себе в причт; этого паренька, видите ли, выгнали из нашей семинарии тоже за разные разности; ну, я его к себе и сманиваю. Не скучно хоть будет... Парень даровитый, вот как и вы, науку прошел; только боюсь, не испортился бы тут...

Михайлов стал сходить с крыльца.

– А про мою воспитанницу что-нибудь слышали? – спросил с усмешкой священник. – Ведь вы когда-то ее у меня,

помните, видели, и она вас тоже тогда, кажется, заняла?

– Нет, не слышал. А вы не знаете, что с нею теперь?

– Как же, как же, теперь уж я все знаю: у Панчуковского она поселилась окончательно; да то диво, что, говорят, ему отдалась совершенно и даже... стыжусь вам сказать... таково уж наше время... и помяните мое слово, Панчуковский поплатится, и поплатится сильно... А она?!

– Что же? Говорите!

– Говорят... уж и беременна от него... не прячется и открыто стала с ним ездить. В мой угол тридцать лет никакая людская напасть не проникала; я как в гнезде ласточки жил. А теперь что случилось!..

Михайлов пожал плечами, вздохнул, простился со священником и уехал. Шутовкина он не застал дома. Хозяин его был где-то по коммерческому делу. Было поздно вечером.

Ученики Михайлова уже спали. Он сел к роялю, склонил к его клавишам грустное лицо и свои белокурые пышные кудри, стал было играть и невольно заплакал... Потом он снова начал играть и играл с увлечением до утренней зари.

«Я буду артистом!» – подумал он, забываясь радужными грезами.

Солнце взошло.

У рояля, на кушетке, навзничь лежал и крепко спал Михайлов. Что ему снилось? Музыка, естественная история или новые соблазны спекуляциями?

Бог весть...

В доме у соседей Панчуковского, братьев Небольцевых, на Екатеринин день, день именин их старушки матери, был праздник и большой съезд гостей. В числе других, разнообразных и разноплеменных лиц околотка, был здесь и полковник.

В осеннем темно-зеленом пальто, с орденской ленточкой в петлице, по-прежнему раздушенный и распомаженный, Панчуковский, однако, был, по-видимому, как будто не в духе. Столпившись в курительном кабинете, вдали от девиц и дам, гости-мужчины по-былому толковали о минувшем лете, о близости закрытия приморских портов, о ценах хлеба, каменного угля, о видах на весенние продажи сельских сборов и о местных скандалах всякого рода. Сидя на мягком диванчике и сверкая перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями, Панчуковский, по обычаю, вскоре оживился и завладел общим разговором.

– Так вы думаете, что мы можем ожидать, с близкою реформой крестьянского быта, переселения народов к нам с севера, скорой колонизации здешних земель? Шалишь! Нет, господа, этого не будет! Будь я подлец, если не так!

– Отчего же? Вы все намеками говорите, полковник...

– Отчего? вот забавно!

– Да-с, непонятно что-то...

– Оттого, что в наш век странствия новых гуннов и аланов невозможны. Да-с, новые Атиллы у нас – это английские-с

паровые машины, ливерпульские да клейтоновские локомотивы, молотилки-с и всякие черти! Вот нашествия чего мы должны ожидать и от чего должны откупаться, как старинные города и села откупались от диких варваров! Труд крестьян, дешевенький крепостной труд, – он только нам и давал доход, повторяю, при крепостном состоянии; а теперь все вздорюет, и земледелию отныне шабаш!

– Позвольте, позвольте: почему вы так думаете, что к нам не двинутся переселенцы из великорусских губерний? – спросил Митя Небольцев, старший из братьев-хозяев.

Панчуковский громко и резко захохотал:

– Ах вы, простота-простота, душечка! Ну, бросит ли наш туляк, владимирец или пскович свою дымную лачужку, бедную ниву и родичей, чтобы явиться к нам в гости? Да он скорее пойдет в Москву на фабрики или на барки на Волгу на заработки, чем решится к нам переселиться. Через сто лет, так, не спорю; а теперь оставьте, господа, надежды. Не верьте вы нашим чухонским Штейнам и новоиспекаемым Кавурам с Невского проспекта! Ведь в Питере куда ветер подует, туда и все песни летят! Был у меня там один приятель – чиновник; верите ли, если бы вот ваш, Адам Адамыч, пудель ему сказал, что в моде, положим, голубые шляпы, он бы в департамент тотчас голубую шляпу надел...

Слушатели рассмеялись.

– Как, как, Владимир Алексеич? Пудель? Голубые шляпы?..

– Право! На этого же самого чиновника на даче воры как-то напали; что бы вы думали? Он залез под кровать и стал оттуда впотьмах лаять собакою. Это собачье искусство только его и спасло, дачу ограбили, а его оставили в живых.

Лакей внес водку перед завтраком. Хозяева суетились. Слушатели в восхищении от острот Панчуковского похаживали, шушукались. А он ораторствовал не переставая.

– Что мне, господа! Я не от личных огорчений говорю. Я счастлив, богат, свободен как ветер, хоть и эгоист, господа, и считаю в душе это чувство лучшей рекомендацией человека.

– Не всегда, полковник! – возразил опять Митя Небольцев, желавший хоть чем-нибудь оспаривать бойкого местного красnobая и идола, – и у вас бывают невзгоды! вы вот перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней все травы съела!

– Зато у меня с прошлогодней пшеницы и со льна теперь одним золотом семьдесят тысяч целковых в кассе лежит, не считая депозиток...

Полковник повел глазами. Перед его носом в это время стоял его новый камердинер, Аксентий Шкатулкин, и вежливо ждал минуты ему что-то сказать.

– Прикажете лошадей отпречь? – спросил он тихо барина, когда тот замолчал.

– Нет, я сейчас после пирога уеду! – ответил громко полковник и прибавил шепотом, – не лезь, когда тебя не спрашивают. Жди, после пирога велю запрягать...

– Куда вы, куда? – заговорили хозяева и гости разом.

– Надо домой; есть дела!

– Оставайтесь, ради бога, оставайтесь. В кои-то веки вас дожدهшься!..

Полковника упросили, и он остался. Он продолжал:

– Следовательно, я состою в кругу недовольных по убеждениям, а не из личностей. Я за себя молчу. А прислушайтесь вы к толкам в степях, на проселках и широких столбовых дорогах, в шинках и на возах с снопами, у переправ мостов и по взморью. О чем толкует народ здесь и везде?

Слушатели тревожно молчали, утопая в табачном дыму. Полковник встал и дико оглянулся по комнате, закидывая за уши волоса.

– Народ готовит нам штуки-с, господа! Да, да, да! Зовите меня алармистом, иллюминатом... Я народ наш знаю, я вращался и вращаюсь в нем! Он готовит нам такие штуки-с, что нам не расхлебать!.. Один косарь косил у меня этим летом. Я любил с ним говорить. Раз он меня на днях спрашивает: «Видно вы, барин, проглотили черта с хвостом, что так разумны; скажите мне, правда ли, что нам волю хотят дать?» Я говорю: «Правда, мой миленький; только имейте, говорю, терпение, ждите». – «Да, оно так, – отвечает он мне, – только пошли у нас слухи по ярмаркам, по церквам, по шинкам, по дорогам тут и по распутиям, что не одну волю нам дадут, а также и всю землю вашу навеки». Вот и подите-с!.. затевают кашу... А я народ знаю, и меня народ любит; я популярнее

всех вас, а что они со мною было сделали! а?

Панчуковский замолчал. В кабинете кто-то вздыхал, точно будто кто плакал. Он оглянулся: помещица Щелкова, от простуды бывшая с завязанною шеей, тихо подошла из залы и держала платок у глаз. Она закашлялась и ухватила полковника за полу.

– Месье Панчуковский, скажите, бога ради, скажите, наконец, чего нам еще ждать, чтобы я могла, имела силы вовремя все сделать, приготовиться? Я женщина глупая, слабая, все меня пугает, все...

– Во имя отца и сына и святого духа, аминь! – раздался голос из залы.

– Господа, молебен! – объявили братья-хозяева, – наше духовенство опоздало немножко! Да расстояния виноваты; наш приход в Андросовке, за тридцать верст... Пожалуйста. Обычай дедовские мы соблюдаем.

– А мы с вами, Авдотья Петровна, после потолкуем! – сказал Панчуковский. – Видите, молиться зовут; а ведь я ретроград и плантатор, как меня здесь обзывают: нельзя, система требует.

Гости вышли в залу. Тут уже блеском сияла толпа раздушенных дам и барышень. Легкие и воздушные очаровательные платья их напоминали близость приморских городов и возможность самых тесных сношений с чужими краями. Свежие итальянские шляпки, турецкие шали, лионские шелк и бархат; марсельские и греческие духи били в нос

каждому. Черные брови, смуглые личики, легкие станы, живые движения... «Вот она, наша-то Новороссия! – шептал за молебном Панчуковский, подталкивая Митю Небольцева, – отраднo отдохнуть от работ и наживы, глядя на наших красавиц!» Щегольской камердинер полковника в зеленом ли-врейном фраке, с бронзовыми пуговицами и при цепочке, также был тут, выйдя из лакейской, стоя у дверей и молясь богу. Молодой красивый священник, из херсонских греков, читал в нос и гнусил нараспев, так и пронизывая всех зорки-ми глазами из-под черных широких и густых бровей. На нем была ярко-лазорева-я ряса в каких-то серебряных звездах и блестях; на груди наперсный крест, а пояс и нарукавники вышиты гарусом и стеклярусом.

Студент Михайлов, стоя тут же с своими птенцами, невольно вспомнил отца Павладия и его уединенную, бед-ную и старенькую обстановку. Впереди всех стояла, вся в бе-лом, именинница, семидесятилетняя мать хозяев, первая пе-реселенка из помещиц сюда, на Мертвую.

После молебна стали закусывать. Гости опять столпились в кабинете, как ни старались Митя, а потом и Сеня Неболь-цев обратить их в гостиную к дамам. Полковник, куря сига-ру, постарался опять начать разглагольствовать, стоя перед Щелковой.

– Вы толкуете, Авдотья Петровна, что с Дону, из казаков, если и их коснется реформа, к нам двинутся руки. Пустое-с! Извините. Знаю я этот почтенный и воинственный народ...

– Что, что? – подхватил Митя Небольцев, – я казаков люблю, народ лихой; там я был влюблен, господа, недавно, и не позволю их бранить – извините...

– Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, эти ваши казаки! Что за военные арматуры в наш мирный век у каждого из них, вместо гражданских наклонностей! Что за учителя при саблях и что за чиновники при шпорах! А встретитесь вы с ними на пароходах, которые уже врываются в их Дон, или в домах где-нибудь, куда уже являются наши и заграничные журналы: сидят, молчат и хлопают глазами либо пьют... За пуншем да за картами только их и услышишь! Да что и слышать: дичь, беседы Тамерланов!

– Э, камрад! повторяю, – не нападайте так на моих лихих казаков! – перебил опять Митя Небольцев, – поссоримся! Я один за всех их на дуэль вас вызову! Вздор вы говорите.

Да уж если на то пошло, так слушайте! Был у меня приятель тут по соседству, исправлявший должность учителя уездного училища, и захотел он нажитья, поехал к ним, к казакам-то, на Дон, там библиотеку где-то публичную открыл. Последние деньжонки, бедняк, на нее убил. Что же бы вы думали? Приходит к нему подписаться на чтение сын какого-то ихнего там не то купца, не то горожанина; залог оставил. Рвение к литературе показал; признался, что круглый невежда, что учиться хочет, и попросил ему выбрать что-нибудь для чтения. Учитель-библиотекарь выбрал ему Белинского, Грановского там, что ли. Радуетя, что такое стремле-

ние у малого заметил. Что же бы вы думали? Через неделю приходит кучер от батюшки этого малого и приносит обратно книги. «Старик, говорит, прислал ваши книги обратно; готов и залог вам оставить задаром – только не давайте его сыну больше ничего читать: от дела отбивается!»

Все начали ахать, возражать, уверять, что это преувеличения.

– Что вы, господа, этому не верите? – возразила невпопад, не расслушав дела, Авдотья Петровна Щелкова, желая поддержать полковника, – я сама от детства ни одной книги до конца не прочитала; все некогда... книги вред, да и не для нашего брата степняка они писаны! Недаром я бросила Рязань и сюда закабалилась!

– Нет, нет и нет! – заключил полковник, – если справедливы слухи о близкой, наконец, реформе крестьянской, наши села запустеют, хлебопашество упадет! Мы разоримся, обнищаем все. Если бы, господа, я был американец и жил с вами не в России, а, положим, в Виргинии или в штате Мерилэнде, – я, в случае войны за невольничество, стал бы открыто на сторону закабаления негров...

– Негров? вот мило! – сказали некоторые дамы, под общее увлечение входя также в кабинет и протеснясь к полковнику, – это что-то из «Хижины дяди Тома»...

– Пустозвоны ваши литераторы! – крикнул наконец с запальчивостью Панчуковский, – ну, чего они не напичкали в этот сборник всякого вздора! Что за святость страданий у

этих скотов? Что за поэзия побегов и воспевание освобождения от труда! Ведь рабство это – труд, а труд – кусок хлеба, а хлеб – честь, нравственность! Уж не вздумают ли идеализировать и наших беглых беспаспортных бродяг, месяца полтора назад заставивших меня, из-за расчета с негодяями-ко-сарями, выдержать правильную осаду?..

– Ах, месье Панчуковский! – лукаво разохались дамы и девицы, знавшие между тем настоящую причину соблазнительного скандала, посетившего полковника, – расскажите, как это с вами было? Мы не знаем... Чего добивались у вас эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья ружья готовили...

Панчуковский вздохнул и смиренно опустил глаза.

– Сожгли у меня все-с, набуянили, стекла в доме перебили, шинок у откупщика насильно распили!

– Вы же на них искали?

– Искал. Но разве вы не знаете наших судов? Кое-кого поймали; но это все оказались неприкосновенные к делу! Их выпустили, а главных, то есть главного зачинщика не нашли...

– Кто же этот главный? – спросила со смирением Иуды Авдотья Петровна, натершая порядком язык, таратора всем об истории Левенчука и Оксаны.

– Беглый пастух какой-то помещицы, взбунтовавший три артели косарей требованием надбавки заработанной платы при расчете сверх условия... Тоже известное дело...

– Где же он теперь?

– Говорят, убежал в донские плавни и камыши, известный всем притон наших разорителей.

– И его товарища, месье, разыскивают – Милороденко или Александра Дамского по прозванию, – заметила, кашляя, Щелкова, – тот так уже прямо ассигнации стал делать, и с ним, говорят, везде был за одно. Я брала у отца Павладия газеты и о нем читала. Моя Нешка, – *ma ser-vante, messieur*¹⁹, – тоже с этим Милороденко подружилась было, когда он еще у Шутовкиных год назад шлялся. Этот еще опаснее. Смел, говорят, до невероятности. Мне его описывали. На взморье он в прошлом году с двумя лодками турецкую кочерму ограбил... Я хоть его и не видела, а кажется, сразу бы узнала...

– Да, – возразил насмешливо Панчуковский, – и Троекуров у Пушкина хвастал, что узнал бы разбойника Дубровского сразу, а Дубровский у него три месяца учителем прожил... Вы читали «Дубровского»?

– Я ничего не читала и в Рязани, а здесь и подавно некогда.

Слуги в это время убирали закуску в зале и все слышали. Слуга полковника неожиданно скрылся и за обедом вышел с подвязанным глазом.

– Что это у тебя, Аксентий? – спросил его рассеянно Панчуковский за обедом.

– За девочкою тут, сударь, погнался за двором у сарайчика, а она меня и съездила кулаком в глаз! – шепнул Шкатул-

¹⁹ Моя служанка, господа (*франц.*).

кин ему на ухо.

Полковник в это время ел индейку с жирным фаршем, любимое свое блюдо. Он громко рассмеялся, повеселел, и все с ним повеселели.

– А сдастся? – спросил также шепотом слугу полковник после обеда, – сдастся твоя героиня?

– Сдастся! У старой барыни их здесь целый гарем-с: останьтесь, сударь; попозднее можно поохотиться. Я взял бубен с собою и заманю их всех к кучеру Конону в хату...

– Посмотрим! Надо осторожнее...

После обеда во время десерта приехал Мосей Ильич Шутовкин. Сластолюбивый забулдыга-купчик был на этот раз прифранчен, в тонком сюртучке и чистом голландском белье. Это было после того, как Панчуковский выходил с дамами во двор и плясал с дворовыми девушками трепака. Это была его специальность на всех дружеских съездах.

– Что вы на пирог к нам не приехали? – спросил Шутовкина Митя Небольцев, – мы вас ждали! Верно, опять шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо детей к нам вперед послали...

– Ванну моей царице Пентефрии делал-с, так и провозился с ее туалетом; к родным ее отпустил!

Молодежь, бывшая уже снова в доме, приснула со смеху. Пошли передавать друг другу ответ Мосея Ильича.

Шутовкин стал между тем искать глазами Панчуковского, увидел его в кругу дам, по обыкновению в положении оратора, и поманил его пальцем.

– Подь сюда, полковник, подь сюда! – сказал он ему, оглядываясь.

Панчуковский подошел. Шутовкин отвел его в сторону и не отпускал его руки. Собственная жирная и теплая рука Мосея Ильича дрожала.

– Владимир Алексеич, принимай меры! – начал он степенно и без шуток, упершись в него серыми и добрыми, будто испуганными глазками.

– Что такое?

Душа у полковника замерла, чуя что-то недоброе. Шутовкин оглянулся кругом и продолжал говорить шепотом:

– Ты от меня скрывал, а бес тебя и попутал! Я вчера из города прибыл; маклачил там кое с чем, с чиновниками видался. Ходит, душечка, там слух, что... одна помещица какая-то... Перепелицына, что ли, приехала и тебя насчет каких-то денег разыскивает.

Панчуковский вздрогнул и позеленел.

– Ну?..

– Она тебя разыскивает, справки собирает о твоих делах. Ты ее в любовницах держал, что ли, или венчан с нею? говори!

Панчуковский молчал, не поднимая глаз. Эта весть, видимо, его окончательно сразила.

– Капиталы ты у нее взял, что ли, деньги увез какие? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, или ты и от меня скрываться? А брудершафт зачем мы пили с тобой на-

медни?

Панчуковский опомнился.

– Все это вздор; это сумасшедшая баба, и все тут! – сказал он. – Я ее не приму! Кто меня заставит? Ведь так? Я от нее отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!

Шутовкин отвел его еще далее в угол.

– Да она тебе законная, что ли, говори? Это главное. Коли что, то мы ее и спустим! Вот тебе рука моя, брат! Ведь я у тебя в долгу, разве ты позабыл? Без тебя бы я тогда ни-ни, ничего бы не сотворил! Уж отстоим небось; нам эти бабы дела не впервое. Или ты и в самом деле у нее капиталцу царапнул да сюда в наше приволье тягу дал? Да и почему она Перепелицына, а ты Панчуковский, коли вы, может статься, точно повенчаны? Какие там слухи ходят?

Панчуковский оглянулся, закусил губу, помолчал, прищурил глаза к стороне нарядной толпы. Подавали уже свечи. Все кругом шумело, лепетало. Рояль гремел. Ставили столы для карт. Аксентий с хозяйским слугой курил на раскаленных плитках лоделавандом, прогоняя запах недавнего обеда.

– Молчи, дружище Мосей Ильич, до времени, как будто бы ты ничего не слыхал и не знаешь. Я тебе все после расскажу. Будешь молчать? Руку, товарищ!

– Вот она. Ни-ни! Я... о, я никому ни слова!

Шутовкин и полковник обнялись и крепко поцеловались.

– А крестить будешь у меня, Володя?

– Буду.

– Посто́й еще...

– Что?

– Если же это, слушай, точно твоя жена... гм! и придется тебе с ней опять зажить по закону, – девочку-то твою ты мне отпустишь, что ли, а? уступишь?

– Никогда, никогда этому не бывать! – сказал полковник. – Я, слава тебе господи, еще с ума не сошел, чтоб менять кукушку на ястреба...

Они об руку друг с другом вмешались в нарядную толпу. Давно гремел звонкий рояль. Молодежь пустилась в пляс; южная страстишка попрыгать брала верх. Танцевали тут всегда до упаду. Играл Михайлов.

А полковник, снова оживленный и бойкий, стоя в дамском кругу, в гостиной, опять ораторствовал:

– Наши новороссийские степи – это, медам, рай земной! Засухи, саранчу, пыль – все это можем победить и преодолеть. Людей только нам дайте, людей, этих-то белых негров поболее. В каждом месте этой степи проройте колодезь, ключ раскопайте, и сухая, как уголь, черная земля изумит вас плодородием; стада сами к нам придут. Мы об Америке вздыхать позабудем. Свои Куперы у нас будут...

– А теперь, месье Панчуковский? Как вы теперь считаете Новороссию нашу?

– Теперь?.. – Панчуковский иронически улыбнулся.

– Да-с.

– Теперь наши степи напоминают мне украинскую сказку

о том, как обыкновенно перед бедою будто бы в хаты кто-то белый все с улицы заглядывает, считая по пальцам живущих там, спящих и работающих. Народ говорит, что перед последнею здесь чумою, при Екатерине, что ли, на степных курганах рано поутру видали все двух женщин; это были две моровые сестры: младшая – жизнь, а старшая – смерть; они дрались и таскали друг друга за волосы, споря о людской судьбе и готовя народу бедствия. Таких-то сестриц и я все будто теперь вижу тут с недавних пор! – заключил Панчуковский, кланяясь. – И вы меня не уверите; нам беды с ожидаемыми реформами не миновать! Прощай, веселая, спокойная и счастливая сторона! Все здесь вымрет, переведется и зарастет лопухами и чертополохом...

– Какие страсти! Какие ужасы! – шептали дамы, теснясь вокруг него и лорнируя.

– Я уж и ружье приказчику купила, а револьвер у меня всегда теперь под подушкой! – заключила Щелкова, – не уверите вы и меня, чтобы у нас прошло все мирно. Моя Нешка мне вчера платок швырнула со злости.

– Гений, а не человек! – шептали другие дамы, имевшие дочерей, – и как жаль, что неженатый.

Панчуковский оставил дам, незаметно прошел сквозь веселую толпу танцующих в зале, взял тайком шляпу, тихо вышел на крыльцо, переждал, пока запрягли ему лошадей, сел и полетел домой на своей крылатой четверне.

– Отчего же это вы, барин, не дождались и так рано уеха-

ли? – спросил дорогою Милороденко с козел, с сожалением качая головою, – а я уж кой-кого подготовил...

– Черт их подери! Я терпеть не могу, братец, этих наших веселостей, особенно же танцев... То ли дело с простыми девочками, где-нибудь под вербой – она пышет, пляшучи, а ты ее целуешь! Не люблю я барышень!..

– Ничего, сударь, и это; тут барышни обнаковенно с голыми плечиками бывают... Я всегда в таком случае люблю их танцы и постоянно смотрю из передней-с.

Приехав домой, Панчуковский сел за бумаги; под видом ревнивых предосторожностей в отношении к своей любимице, действительно почувствовавшей признаки интересного положения, он велел опять запирать ворота и все входы и выходы. От главных же дверей в доме ключ взял к себе в кабинет, а на ночь кругом запер весь дом собственноручно.

– Мне это, сударь, невыгодно! – заметил шутливо Аксентий, его раздевая.

– Отчего?

– Вы понимаете-с...

– Ничего! переждешь, брат. Днем наверстаешь, спи в передней! Теперь уж на дворе и холодно; да говорят еще, будто какая-то шайка из острога разбежалась. Подкованцева под суд отдают...

– Шайка-с? Подкованцева? – спросил, перепугавшись, Милороденко.

– Да.

– Ну, так и точно, лучше побережемся! Бедняк, бедняк! Жаль этого-с исправника. А вы за мною – спокойно спите... я ведь покаялся, я нынче монах-с. Любите меня, а я уж похристиански обойдусь с вами...

Осень кончилась. Пролетели громадные воздушные армии перелетных птиц. Настала гнилая, бесснежная приморская зима, длинные ночи, короткие холодные деньки, с зеленеющими полями, стадами овец в степи, быстрыми и краткими налетными метелями и изредка хмурым, сердитым небом. Снег падает и тотчас почти тает, либо заметет степь, дороги. Все замерзло; вот стал зимний русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. Арбы вязнут, верблюды и волы тонут по брюхо. Одна езда верхом становится возможною. И опять холод, опять тепло. Два дня погрело солнышко – и уж летят снова дикие гуси, журавли; аисты ходят по пустырям, пеликаны по озерам и лиманам. В деревнях барыни на крылечки выставляют цветы на воздух. Овцы опять движутся на подножный корм в поле. А февраль еще на дворе. У побережья в синих волнах снуют лодки, корабли показываются. Невода опять тянут. Костры горят. Торговля зашевелилась. Конторские маклера рыщут по городам. Но небо опять нахмурилось, налетели с севера тучи, и Новороссия, южнорусская Италия, опять становится мертвою, суровою Скифией.

Слухи о мадам Перепелицыной прошли было и замолкли. Панчуковский совестился ехать в город и лично хлопотать.

Он решился показать вид, что спокоен, а потом и в самом деле успокоился. Михайлов уехал в Одессу.

ХII

Похождения Милороденко

– Твой соперник, твой Левенчук, наконец пойман! – такую приятную и неожиданную вестью порадовал Панчуковский приятель-исправник Подкованцев, – он пойман в партии неводчиков, близ Мариуполя, и доставлен по месту преступлений ко мне в уезд. Теперь от вас, от тебя, друг Владимир Алексеевич, зависит помочь и мне: меня, брат, упекают под суд за покровительство нашим бродягам. Так ты мне своими связями помоги; а я, пока состою при месте, запроторю твоего соперника туда, куда и Макар телят не гонял. Приезжай, потолкуем.

«Я же его упеку! – свирепо подумал полковник, – все равно теперь нечего делать, поеду!»

Панчуковский слетал к Подкованцеву, условился, как и куда спустить бродягу Левенчука, а кстати, посоветовался и о том, что предпринять с происками уже начинавшей ему надоедать помещицы Перепелицыной, появившейся в соседнем городе. Было положено: Левенчука избавить от допросов и от следствия по делу о взбунтовавшихся косарях, а скорее послать его как бродягу к его помещикам; если же он их не назовет, то прямо в Сибирь – как непомнящего родства, а о госпоже Перепелицыной пустить в окрестностях молву, что на нее падает подозрение в соучастии с продавца-

ми фальшивой монеты, сделать у нее через приятеля-городничего обыск, напугать ее, а потом и предложить ей уехать обратно в Россию.

– Левенчук пойман! – сказал полковник Шкатулкину, воячаясь домой в радости от условия с Подкованцевым и спеша обрадовать эту вестю своего слугу.

– Пойман-с? Быть не может! Ай да полиция-с! – сказал Аксентий, сделавшись между тем белее мелу, – где же-с он?

– Ведут еще в цепях, по этапу!

– Зачем же в цепях, ваше высокоблагородие? Это прижимки-с.

– Как! Да ведь это он был тогда главный-то бунтовщик с косарями!

– А! я и забыл! Куда же его ведут, сударь?

– Должно быть, в Сибирь пойдет.

– Так-с. Жаль парня! Ну, да на то уж ваша барская воля!

Значит, чтоб не мешал счастьем...

Полковник перед тем нарочно постращал Шкатулкина вестю, будто бы где-то бежала шайка воров из острога, для того чтоб тот лучше берег дом, по ночам запираемый с обеих выходов самим Панчуковским. Теперь же вдруг слух этот на самом деле сбился. Антропка ездил для кухни за говядиной в город и услышал там, что действительно из соседнего острога через дымовую трубу бежали арестанты.

– Вот, видите ли, – сказал полковник дворне, – чего доброго, еще Левенчук, может быть, убежал! Пропадем мы, пра-

во, все, если не будете беречься; запирайте же постоянно на ночь все двери в хатах и ворота во двор да собак спускайте с цепей. Ты же, Домаха, отныне не отходи сверху от дверей Оксаны; теперь она стала спать наверху, так чтоб что-нибудь ее не напугало. Ты знаешь, что теперь надо ее беречь да беречь; сбереги ее, я тебя отблагодарю; видишь, какая она стала!.. Я думаю, к Николину дню родить будет... Как же! Точно к Николину...

Итак, полковник спал снова один в кабинете. Дверь через шкаф в соседнюю комнату, отведенную было Оксане, он постоянно запирали. Куча не прочитанных за лето книг и журналов лежала теперь на столе в кабинете, возле кровати Панчуковского, и он, задергиваясь пологом и предварительно взяв к себе ключи от дома, ежедневно, ложась спать, читал до глубокой ночи. Тут постоянно роились в его голове все главные предположения и дерзкие, небывалые мысли о новых спекуляциях. Иногда он вставал, подходил по мягкому ковру к столу, садился писать, незримый более с надворья, вследствие недавно к зиме устроенных плотных внутренних ставней, и нередко заря заставляла его утром еще в кресле в теплом куньем халате, за выкладками, соображениями и письмами. Его переписка была более коммерческая, деловая.

На гумне в это время домолачивалась пшеница. Стоял также еще громадный ряд скирд ржи и прочего менее ценного хлеба и большие скирды свезенного овцам со степи сена. Молотила паровая машина. Полковник ежедневно ходил

на гумно, стоял над рабочими и оставался там до глубоких сумерек. Шкатулкин же обыкновенно, управившись в доме и поиграв с «барышней» и с Домахой в карты, выходил на крыльцо, сидел тут, курил, смотрел, как догорали недолгие порывистые зимние деньки, либо посмеивался, сплевывая в сторону и труня над разными дворовыми лицами, сновавшими с утра до ночи из кухни в амбар, из амбара в ледник, в погреба, за двор и в дом, и поджидал тут барина.

Раз захотелось Панчуковскому пойти ночным дозором на ток, где лежали большие вороха намолоченной, навеянной и еще не ссыпанной пшеницы в клуне, посмотреть, нет ли плутовских следов к воротам или через канавы, не пользуется ли кто лишним сеном из его же наемных дворовых, державших скот на барском корму. Снег перед тем только что снова выпал после обеда и запорошил белым пушком всю окрестность, двор, овчарни, гумно и батрацкие избы с клетушками.

Было темно. В трех шагах нельзя было видеть человека. Но полковник смело пошел; в кармане его был, по обычаю, револьвер. Аксентий копался в доме, в буфете, готовя чашки к чаю. Полковник по пути кликнул Антропку и пошел с ним. Они миновали батрацкие избы, где уже почти все затихло и спало, прошли овчарни, мельницу и поднялись на взгорье к току.

– Сбегай, брат, Антропка, домой: я забыл спички; принеси! А я тут подожду. На обратном пути закурю сигарку; да

также фонарь принеси – легче будет назад идти. Я буду ждать у клуни.

Антропка побежал. Полковник пошел вперед.

Снег почти неслышно шелестел под ногами. Все молчало в мягком, свежем воздухе. Из верхнего этажа дома полковника, через ограду, мерцал огонек из слухового окна Оксаны. «И так это она скоро покорилась и забыла своего жениха! – думал полковник. – Чем женщин не купишь! Или эти украинки, по правде, скотоваты?» Со стороны поля, из какой-то отдаленной, степной овчарни доносился лай собак. «Это верно, волки там похаживают, набегают из соседних камышей!» – раскидывал мыслями полковник.

Вдруг ему послышался шорох шагов за оградой гумна, в стороне, противоположной той, куда скрылся Антропка. Кто-то не то шел, не то ехал возле хлебных скирд, за канавою.

«Кто бы это был такой? – подумал Панчуковский и замер... Волос зашевелился у него на голове. – Вор не вор, зачем же он едет от поля? Это, верно, не наш, чужой!»

– Кто здесь? Эй! кто ты? – крикнул Панчуковский. Незримый путник не отзывался.

– Эй, говорю тебе, отвечай!

– А ты кто? – спросил грубый голос, и шаги направились к полковнику.

– Сторож.

– Нет, погоди! Ты барин сам?

– А хотя бы и барин? – сказал Панчуковский и заикнулся.

– Ну, стой же, коли твоя судьба на то привела!

Незнакомец зашевелился. Панчуковский не успел подумать, зачем это он велел ему подождать и что значили его слова о судьбе, – даже пьяным ему показался незнакомец, – как мгновенно в пяти шагах от него что-то невыносимо ярко блеснуло, раздался оглушительный выстрел, а в упор перед ним с ружьем обрисовался Левенчук.

– Что это ты? – крикнул Панчуковский, пошатнувшись.

– Шел подстеречь тебя, барин, и посчитаться с тобою навеки; а ты и сам подвернулся... Не прогневайся!

– Кто здесь? Эй, держи, лови! вор, разбойник! туши скирду! – закричал Панчуковский, очнувшись и поняв, что выстрел в него не попал. Пыж от выстрела попал на хлебную скирду, которая дымилась.

– Кто, кто здесь? – отозвался не своим от страха голосом Антропка, прибежавший между тем с фонарем.

– Ну, жалко же, что у меня не двустволка! – сказал между тем Левенчук, – я б тебя уложил.

Антропка кинулся тушить скирду. Полковник выстрелил из револьвера раз, другой и побежал вдогонку за Левенчуком; но последний скрылся в потемках.

– Стойте вы тут, а я сбегая за лошадью; людей еще позову, и мы по следу теперь его мигом разыщем!

– Дело! Беги, а я здесь пережду! – говорил Панчуковский, едва переводя дух.

– Натя спички, держите, насилу разыскали их с Аксенти-ем в кабинете. Ах ты, ирод, так ты не покайся! С ружьем пришел!

Антропка без памяти побежал снова домой. Панчуковский отыскал на земле брошенный Антропкой фонарь, нагнулся, закрыл его полкой и зажег в нем свечу. Руки его дрожали. Он прислушался: по полю в другом конце от гумна кто-то бежал... Полковник стал искать следов. Шаги беглеца были отлично видны по свежей пороше; верхом, с фонарем, легко его было найти. Лишь бы не зарядил он опять ружья и снег бы снова не пошел. «А! – шептал Панчуковский, – вершком левее, и весь заряд сидел бы уже в моей груди, а я метался бы, как отбегавший свой век заяц! Где смерть-то моя ходила!.. И надо же было пойти дозором на ток и на него, беглого из острога, наткнуться!» Сердце его усиленно билось; кровь стучала в висках. Поднимался легкий ветерок, будто метель собиралась. «Боже, когда бы снег не пошел, чтобы его разыскать! добратья бы мне наконец до него! Какова дерзость? И что делается со мною, – непостижимо! Откуда такие напасти?» Раздался громкий конский топот. Прискакали на блеск фонаря на батрацких лошадях Антропка, приказчик, летом бывший причиною неудовольствия косарей, и еще четыре работника, наскоро, даже без шапок.

– Вот вам фонарь; скачите, догоняйте, молю вас, ловите его!..

– Слушаем-с! Вряд ли уйдет!.. Разве где лошадь припасена у него, али снег успеет запорошить следы.

– Разве и мне не поскакать ли также с вами?

– Еще чего бы не было! Лучше оставайтесь. Домой идите... Мы мигом обознаем все! – крикнул из-за канавы приказчик, и верховые поскакали.

Панчуковский пошел к дому, он был в сильном волнении. Начиная действительно падать снег. Не успел он до ворот дойти, как повалили огромные хлопья.

«Уйдет, уйдет! – думал Панчуковский, – пропало мое дело. Вот бы поймать его! Что до суда и следствия, а я бы его еще сам пробрал...»

Во дворе было тихо. В кухне не светились уже огни. Было освещено по-прежнему только окно наверху в доме, у Оксаны, да в лакейской виднелся Аксентий, смиренно копавшийся с иглою и с какою-то одежей у свечки. Сторож, по местному названию «бекетный», не сразу отворил на оклик барина ворота. Слухи, действительно немаловажные, ходили о шалостях местных грабителей и воров, и все держали ухо востро.

– Кто на очереди? – спросил Панчуковский.

– Самойло.

– На же спички, Самуйлик, да беги скорее в кухню, зажги конюшенный фонарь и давай его мигом мне! Есть дело; может быть, сейчас также поскачем с тобою; оседлаешь тогда мне жеребца!

Седой хрыч Самойло с просонков у сторожки едва разобрал слова полковника, пошел, переваливаясь, и воротился из кухни с зажженным фонарем.

Панчуковский наскоро передал ему о случившемся. Отворили конюшню; Самуйлик побежал в каретник взять седло, как за воротами раздался снова шум и громкий крик приказчика: «Отворяйте!»

– Стой! погоди! – сказал Панчуковский и сам пошел, прислушиваясь к говору за воротами.

– Да отворяйте же! – кричал приказчик, – это мы, свои! лисицу поймали!

Самойло звенел ключами. За воротами кто-то тихо охал. Верховые въехали во двор. Подвинули к лошадям фонарь. Полковник взглянул. Антропка сидел на седле, качаясь. Он весь был облит кровью...

– Что это? кто тебя ранил?

Антропка молча указал в сторону, хватаясь за бок.

– Живодер, сударь, успел опять зарядить ружье и, выждав нашу погоню, выстрелил...

Панчуковский выхватил у Самуйлика фонарь, поднес его к человеку, связанному уже по рукам и ногам и прикрученному за шею к седлу приказчика. С волосами, упавшими на лицо, и запорошенный снегом, перед ним стоял, мрачно понурившись, Харько Левенчук.

Сперва было полковник его не узнал.

– Ты меня опять поджигать пришел?

– Тогда не поджигал; вы на меня донесли, меня ославили; так я уж думал один на один посчитаться...

– А, вот что! Слезай, Антропка! Батраков остальных сюда! Держи его! А! так ты признаешься? Слышите вы все?

Самуйлик судорожно заметался. Приказчик убрал в конюшню лошадей. Левенчука привязали к коновязи. Полковник, по-видимому, не горячился, говорил тихо, но свирепел более и более. Сбежались другие перепуганные батраки. Их расставили на часах. Кто был потрусливее, того отослали обратно. Готовилась сцена, какими иногда увеселял себя полковник.

– Розог сюда, палок!

– Чего бы еще не было от этого? – шепнул было Панчуковскому приказчик. – Лучше бы его так доставить в суд.

– Молчать! Я вас всех переберу! Розог, кнутов, палок.

Явились и кнуты, и розги. В доме было все тихо. Туда никто не входил, и там ничего не знали. По-прежнему светились тихие окна Оксаны и Аксентия.

– Нет, душечка! нет, голубчик! – шептал Панчуковский, – пока до суда, так ты опять еще уйдешь из острога в печку, а вот я тебе перемою тельце, переберу по суставам все твои косточки... Клади его, Атропка! Самуйлика сюда! Где он? Ну, живее!.. Куда он тебя ранил, Антропка?

– В бок, дробью-с.

Явился Самуйлик, скорчил грустно губы, да нечего было опять делать – воля барская...

– Он, сударь, вольный, может статься! За что вы его бить хотите! – отозвался, сняв шапку, один из батраков.

– Молчать! – орал уже на весь двор Панчуковский. – Каждого положу, кто хоть слово пикнет! Клади его, бей; а ты, Антропка, хоть и раненый, считай... Огня мне; пока выкурю сигарку, не вставать тебе, анафема!

Началась возмутительная сцена...

Левенчук, как лег, не откликнулся, пока над ним сосчитали триста ударов.

– Довольно! – сказал полковник, – повороти хохла да посмотри: жив ли он? Что хохол, что собака – иной раз их и не различишь...

Левенчука повернули к фонарям лицом.

– Так вот она, воля-то ваша, братцы! – простонал Левенчук, чуть шевелясь от боли, – а вы лучшей тут искали?

Толпа с ропотом шумела...

– Ну, ну, не толковать! Воды ему, окатить его да дать напиться! – крикнул полковник, отходя к крыльцу. – Это кто? – спросил он, наткнувшись на кого-то в потемках и поднося к его лицу фонарь.

То был Милороденко... На нем черты живой не было.

– Барин! зачем вы так тиранили человека? – спросил он.

– Так и учат скотов! Да если и вы все его защищать станете, лучше уберите на все четыре стороны. Лишь бы лес был, а волки будут... Я, брат, военная косточка и шутить не люблю.

Милороденко пропустил барина молча мимо себя.

Но едва полковник скрылся в доме, он опрометью победжал к конюшне, где так неожиданно наткнулся было на истязания бывшего приятеля.

– Где он, где он? – шептал разбитым голосом Милороденко, расталкивая батраков.

– Вон, Аксентий Данилыч, водою отливают; замер, горемыка, чуть его бросили... Как бы чего барину не было!..

– Барину? – закричал Милороденко, – а человеческую душу загубил, так про эту душу и не вспомните? Еще воды сюда! Снегу на голову – водки в рот. Эй, на вот целковый, сбегай в шинок!..

Очнувшиеся батраки зашевелились перед новыми приказаниями. Стадо людское шло туда, куда пастух вел, кто бы он ни был...

Прошло часа полтора. В кабинет полковника вошел Аксентий. Он молча положил ключ от каретника на стол, у подушки Панчуковского. Глаза его были заплаканы, волосы вскочены.

– Ну?

– Извольте ключ-с; приказчик прислал...

Милороденко не поднимал глаз от полу.

– Связали? уложили его в каретнике, как я приказал?

– Заперли связанного. Утром можно в город послать-с...

Только знаки, барин, будут видны – не было бы чего...

– Ложись спать да двери запирай! Не твое дело! Терпеть

я, братец, не люблю рассуждений. Это ты мог делать у Шульцвейна, у других...

Аксентий покорно ушел. Прошло еще с полчаса. Все замолкло. Огни везде опять погасли. Ворота со скрипом заворонились. Умолкли и собаки, лаявшие под этот необычный ночной шум.

Полковник встал, выпил залпом два стакана воды, надел халат и туфли, обошел весь дом, увидел Домаху, спавшую у дверей Оксаны, зашел на Оксану взглянуть, увидел Аксентия, со смирением агнца храпевшего уже на коврике в лакейской, воротился в кабинет, запер его на ключ изнутри и с легкою дрожью улегся снова в постель, задернув атласный полог. Он долго не спал, слышал, как часы наверху пробили два и потом три, как петухи прокричали вторично. Наконец он забылся.

Ему все снились отрадные картины. В потайном железном английском сундуке его кассы, врезанном в его письменный стол, грезилось ему, лежат уже не сто пятьдесят тысяч рублей тайно увезенного жениного капитала, а вдвое против этого. Оксана дарит ему сына, толстенького гетманца, с черными кудрями, и нарекут ему имя также Владимир. А по пустынной, зимней степной дороге, на север тянется под конвоем длинный этап: впереди его идет в цепях Левенчук, а сзади – уличенная Подкованцевым в сношениях с фальшивыми монетчиками супруга Владимира Алексеевича, рожденная купеческая дочка Настасья Гавриловна Перепелицы-

на. Сон длится далее. Хутор Новая Диканька уже расширился, превратился в мануфактурный и промышленный городок. Полковник назначен военным губернатором, управляющим и гражданской частью. Высятся кирпичные фабричные трубы. Каменные корпуса поднимаются по улицам. Извозчики ездят. Дремучие рощи окружают собственный дом полковника. «Это уже и отца Павладия перещеголяло!» – думает Панчуковский и вместе с тем в испуге просыпается...

Что это?

Комната его странно осветилась. В дверной секретный шкаф вошли беззвучно какие-то лица. Над постелью его стало что-то высокое... Он вскрикнул и, обезумевши от смертного ужаса, кинулся за края полога.

– Ни слова! – звонко сказал стоявший над ним. – Теперь уж молчи, барин; теперь уж наша воля, – это видишь?

Смотрит полковник: его слуга Аксентий стоит над его ухом и держит собственный револьвер полковника.

– Что ты, Аксентий? с ума сошел?

Шкатулкин, уже одетый в платье своего барина, видно, не шутил.

– Барин! – сказал он, – ты теперь молчи; пикнешь слово – вот тебе бог святой – пулю в лоб пушу! Нам что теперь? Все подавай свое и баста! Пролежишь смирно – жив останешься...

Панчуковский оглянулся: за пологом стоял освобожденный, истерзанный им за три часа назад Левенчук. В руках

последнего был нож.

– Боже! не сон ли это? – шептал Панчуковский, пугливо взглянув на окровавленные во время истязания волосы и взбитую бороду бледного, как труп, Левенчука.

– Что же вам нужно? – спросил полковник, – и что это ты, Аксентий, затеял?

– Ты теперь, ваше высокоблагородие, уж тоже молчи! Пистолет-то твой, как видишь, у меня! На, Хоринька! – прибавил Милороденко, подавая пистолет Левенчуку, – держи эту штучку да посади барина-то, обидчика твоего, обратно на постель, то есть положи его сразу в лоб-то, коли что затеет, а мне некогда! Да ты, может, барин, хочешь знать, кто я? Спасибо за угощение: я Милороденко! Не удалось покаяться, как видишь...

– Ну, теперь слушай уж и ты! – сказал, переступая с ноги на ногу, Левенчук, – садись и молчи; я тебя уложил бы тут навеки... так старший не велит! У нас с ним свои счета...

Панчуковский упал обратно на постель. Он уже и за ногу себя ущипнул, все еще полагая, не спит ли, и охать принялся, и даже попросту заплакал. Верзила Левенчук стоял перед ним, как каланча, изредка шевелясь и косясь на него.

Милороденко, между тем облачившись в платье полковника, им же почищенное с вечера, с обычною юркостью заметался, хлопоча, по комнате, и, увидя, что пригрозил полковнику достаточно, успокоился и стал даже пошучивать:

– Вот, барин, ты не захотел его давеча помиловать, воль-

ного-то человека, беглого, пташку божию посек, теперь и не прогневайся! Вся твоя дворня перевязана; рты у каждого заклепаны, как бочоночки, – мы вот и распоряжаемся! Ты, я думаю, удивился немало? Теперь уж ты нам ответ дашь: я, сударь, повторяю, Милороденко! Не веришь? Ей-богу-с!..

И он шнырял по комнате. Кругом было тихо.

– Боже, боже! Что они только с нами доньше делали, Хоринька. Правда? – заключил Милороденко, укладывая в чемодан все, что было поценнее из вещей в кабинете, и потом прибавил: – Ты, барин, думаешь, что я шучу? Как решился я освободить приятеля, он прямо шел тебя убить...

Панчуковский вдруг вскочил, кинулся к двери и крикнул громко: «Сюда, сюда, люди! грабят, режут!» Голос его звонко отдался по комнатам.

– Шалишь! – перебил его, загородя ему дорогу, Милороденко. – Ну, Харьков, где теперь те бечевочки, что мы на их барскую милость приготовили? Видно, без этого и с ним не обойдется!

Левенчук достал веревку, при помощи франтовато одетого Милороденко с силой ухватил Панчуковского, зажал ему рот, наставил к виску его пистолет, и в два мгновения полковник, связанный, как чурбан, лежал уже на кровати. Милороденко не без грубости заткнул ему рот концом простыни, причем полковник ощутил скверный вкус мыла, обернул его лицом к стене и прибавил:

– Ну, слушай же теперь, барин, в последний раз: теперь уж

не шути; или ты не веришь? Чуть обернешься назад, аминь тебе! Нож в спину по рукоятку! Лучше лежи, а не то пуля.

– Харько! гайда! – шепнул он Левенчуку. Приятели сорвали планку с потайного замка в рабочем столе, подмеченную заранее Милороденко, вскрыли замок и ящик, вытащили связку бумаг, нашли мешочек с золотом, несколько связок депозиток. Руки у Милороденко дрожали. Левенчук тяжело дышал. Все уложено в другой чемоданчик.

– Бери! Скорее! Неси на двор!.. Нет, лучше стой над ним, а я понесу!

Милороденко выскочил из дому. Там на дворе он сложил все в кучу под крыльцом, где так часто молился. Осмотрелся еще раз, обежал кухню, амбар, подворотную сторожку. Везде было тихо. Собаки были убиты. Перевязанная дворня лежала спокойно. Освободив Левенчука, Милороденко по очереди с ним перевязал всех мужчин и баб, поодиночке, с барским пистолетом в руках, свел их в один из погребов и с забитыми ртами посадил туда, пригрозив выпустить каждому кишки, чуть кто голос подаст. Да уже одно сознание, что он Милороденко, сковало рты всем невольню.

Выкатив фаэтончик полковника, Милороденко вывел его лошадей, пока еще было темно, к погребу, сбегал с фонарем, освободил оттуда обомлевшего от страха Самуйлика, вывел его, с угрозами заставил запрячь фаэтон, связал его опять, толкнул в погреб, уложил чемоданы и забежал обратно в кабинет.

– Что, смирен теперь наш князь? Ты теперь молчишь барин, а? А не хочешь ли мы тебе девочку хорошенькую до-станем?

«Вот опростоволосился! – думал полковник, жуя отвратительную простыню, – того и гляди зарежут! боже! хоть бы в живых оставили!..»

– Какой ему черт теперь, молчит! – свирепо сказал Левенчук, сплюнул в сторону, – да пора уж, чего ты там возишься?.. Пора отсюда вон...

– Ну, стой же еще малость... Надо и о твоём, голубчик, добре подумать.

Левенчук вздохнул и сел:

– Да, пора бы! Жил ты тут сколько времени, хоть бы догадался освободить ее!

– Уж я тебе обещался, только молчи! не знал, где ты. Да и что ей случилось! В холе жила, я с нею в карточки баловался... А я у тебя в долгу – помнишь, за порцию?..

Милороденко поднялся наверх по лестнице. Полковник слышал, как там на мезонине произошла возня. Кто-то не своим голосом взвизгнул, тяжело рухнулся и покатился вниз по ступеням. Опять все затихло. «Домаха отплачивается, бедняга!» – подумал полковник.

Та же потайная дверь в шкафе отворилась в кабинет. Показалась опять голова Милороденко.

– Теперь, Харько, бросай его; иди сюда! Ну, скорее, светает!..

Левенчук ступил в соседнюю комнату. Там впотьмах стояла, опустя голову, судорожно рыдавшая Оксана.

– Ну-ну, барышня, перестаньте, целуйтесь да идите скорее! Пора; ой, ей-же-ей, пора! Поймают, тогда все пропало. Теперь уж и у тебя, Хоринька, хвост навеки замаран.

Он толкнул одурелого от встречи с Оксаной Левенчука. Левенчук вывел Оксану. Внизу лестницы стонала Домаха.

– Ты, Оксана, молись богу, – шептал Левенчук, – а я тебя прощаю – не ты виновата...

– Барин, а барин! Слушай! – сказал Милороденко, входя в кабинет, – я тебе сослужил службу; надо же было и посчитаться. Задавить тебя, повесить, зарезать – все одно что плюнуть. Мы тебя так кидаем, живи, только не дерись больше с людьми православными! Тронешь кого пальцем – аминь тебе, помни! Где ни буду, явлюсь хоть с того света! Да постой, полежи еще маленько; встанешь раньше сроку, пока сам я тебе крикну, – убью; пришло Левенчука; он раз по тебе дал промах, теперь уж не промахнется. Прощай! живи – и нам на твое счастье пожить хочется.

Милороденко вынул все ключи, запер обе кабинетные двери снаружи, связал еще покрепче Домаху под лестницей собственным ее же фартуком, вскочил на крыльцо и запер дом на ключ со двора. Уже заметно светало. Оксана сидела в фаэтоне. Левенчук, склоня голову к ручке экипажа, стоял возле. Они грустно шептались...

– Ну, пташки мои, готовы? освободить ее для тебя, сердце

Хоринька, всегда было нетрудно; да куда бы она делась без тебя? А ты вот что подумай: я тебя не обидел... я берег ее... Это за водку, помнишь?

Еще раз подбежал Милороденко к погребу, постучал, погрозился, велел всем снова дожидаться и молчать, пока и их он позовет, тихо отпер ворота, вывел четверню за ограду, воротился назад, запер ворота изнутри, перелез через ограду по лестнице, вынеся предварительно из каретника Левенчуку кучерской армяк, одел его, посадил на козлы, а сам сел в полковницком отставном военном пальто и в фуражке с кокардой в фаэтон к Оксане. Лошади тронули, выехали шажком за клюню, за косогор. Левенчук стал по ним бить, что было мочи; они подхватили вскачь и унеслись скоро из виду. Может быть, никогда еще их быстрый бег не приносил на земле столько счастья. Оксана плакала, колотясь головой о стенки фаэтона.

Долго ждал связанный полковник со всеми своими домо-чадцами условленного знака освобождения. Уж совсем рас-светло, солнце взошло. Батрацкие хаты задымились. «Что за чудеса!» – думали батраки, ничего не знавшие о заключе-нии вчерашней истории и видя, что из полковницкого дво-ра никто не показывается: ни кучер не ведет лошадей на во-допой, ни приказчик не идет звонить к конторскому стол-бу. Сошлись работники к ограде; ворота заперты изнутри. Постучались, стали кричать; никто не отзывается. Крики их были слышны в погребе; но перевязанные там не могли ни

крикнуть, ни двинуться, да и заперты были тоже на ключ. Опомнилась прежде других и нашла средство действовать старая Домаха. Она разорвала ветхий фартук, опутавший ей руки и ноги, тихо обошла комнаты, постояла, хныча, у дверей кабинета, тщетно силилась их отпереть, пробовала выйти на крыльцо – и там двери снаружи были заперты. Она взошла, охая, наверх, увидела народ за воротами, сначала и его приняла за разбойников, потом узнала кое-кого из своих и решила подать ответ в форточку двери над балконом.

– Что, бабушка, там у вас такое? – пугливо спрашивали голоса из-за ограды.

– А у вас, братцы, что? Ох, напугали, окаянные! Несчастье стряслось!

– Ворота заперты, и никого не видно со двора...

– И тут двери кругом заперты...

– Ды ты, тетка, отбей чем-нибудь!

– Чем же отбить?

– А где барин?

– Не знаю. Тут чудеса были, да и только...

– Ты дверь выставь на балкон, замок дверной отопри, а замазка и так отскочит...

Домаха успешно выставила дверь на балкон.

– Простыни свяжи, бабушка, да и опустишь наземь! – суетливо кричали голоса из-за ограды.

Домаха явилась с простынями, осмотрелась, что разбойников нет, и наскоро передала, что случилось ночью в доме.

По ее словам, все внутренние комнаты были заперты, и барин в доме не откликнулся.

– Боюсь, как бы не убиться, братцы...

– Не убьешься! получше свяжи, тогда и нам отворишь двери и ворота, невысоко...

Старуха связала толстым жгутом простыни и стала прикреплять их к балконным перилам. В это время со степи показался верховой. Ничего не подозревая, он тихо подъехал к воротам. Это оказался рассыльный местного откупщика. Он слез с лошади.

– Здравствуйте, братцы!

– Чего ты?

– К приказчику.

– Погоди, ты видишь, что у нас делается! И приказчика не найдешь...

Ему рассказали, в чем история.

– Где же ваш барин? – спросил удивленный рассыльный.

– Где? А бог его знает где...

– Да я его встретил под Андросовкою!

– Как под Андросовкою!

– Именно же под Андросовкою; в коляске на ваших конях и поехал; должно статья, рано выехал! И ваших коней и коляску знаю; только кучер, пожалуй, что и не ваш. Волосатый такой. Еще полковник высунулся и поглядел на меня; а я ему шапку снял.

Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась и До-

маха.

– Куда же это он поехал?

– Не знаю; с ним и ваша-то, знаете?

– А! в самом деле, братцы, где наша Оксана? да где и остальные!

– Не замайте, не мешайте! – говорила старуха, привязывая простыни к балкону и мостясь перелезть через перила.

Охая и крестясь, она перевалилась за балясы, повисла на воздухе и благополучно стала спускаться вниз. Шутки смолкли. Все чуяли узнать что-то недоброе.

Домаха спустилась наземь, перекрестилась еще раз и отперла ворота. Все гуртом вошли во двор, ошарили все углы, кухню, сарай; нашли очумелых от страха пленников в погребу, освободили их, вывели на воздух.

– Кто это вас?

– Милороденко, братцы! Ох, господи спаси и помилуй!

Господи спаси...

– Как Милороденко? Откуда он взялся?

Приказчик и Антропка первые оправились и стали ругаться.

– Это же он и есть окаянный, Аксентий-то наш, что барин у немца нанял; это и есть Милороденко, что господа у Небольцевых толковали и что суд его разыскивает! Он у нас и жил...

– Снял же я живодеру этому шапку! Да не нарядить ли вам за ними, ребята, погоню? – сказал рассыльный откупщика.

– Да, ищи теперь ветра в поле!

– Однако же, что с домом да с нашим барином случилось?

Где он?

Расспросили еще раз Домаху, взломали двери с парадного крыльца, вошли осторожно, осмотрели все комнаты. Все на своих местах. Подошли к кабинету; двери заперты и без ключей.

– Надо ломать двери...

– Надо.

– Кузнеца сюда!

Явился кузнец, тот самый батрак, что Левенчука когда-то защищал. Руки его дрожали. Долото не попадало в щель. Сломали замок превосходной лаковой дубовой двери, вошли в кабинет и сперва за запертыми внутренними ставнями ничего не разглядели. Отперли ставни, отдернули полог – и судите, каково было общее изумление, когда на кровати оказался связанный и с заткнутым ртом полковник.

Его освободили. Измученный и нравственно убитый со стыда и злости, он долго не знал, что говорить и делать; наконец наскоро расспросил каждого, что с кем было, отпустил всех и остался с приказчиком и с Самуёликом.

– Так и лошадей нет? – спросил он, опустив голову и кусая до крови ногти.

– Уведены-с тоже...

Панчуковский быстро подошел к столу, увидел вскрытый потайной ящик, разбросанные бумаги, схватился за голову и

упал без чувств... Кое-как его оттерли, дали воды напиться.

– Все погибло, все погибло! – кричал он, как ребенок, и бился об стену. – О боже, боже, все погибло! Лошадей, хоть каких-нибудь лошадей! Садитесь верхами, скачите, ищите их! у меня украдены все деньги... все!

Новый ужас обнял дворню. Забыв тревогу, усталость и недавний страх, все, кто мог, вскочили на машинных, даже малоезженных табунных лошадей и поскакали.

– Десять тысяч целковых тому, кто найдет их и воротит мои деньги! – кричал Панчуковский с крыльца, бегая то в конюшню, то за ворота.

Написаны повестки в стан, в суд, в полиции трех соседних городов.

К знакомым и к приятелям посланы особые гонцы.

Панчуковский взшел наверх. Комната Оксаны была пуста.

«Разом какого счастья лишился я! – подумал полковник. – Говорят, что человек идет в гору, идет и вдруг оборвется... И правда!..»

Полковник бродил по дому, проклинал весь мир, звал к себе поодиночке всех, кто еще возле него остался, советовался, кричал, сердился, делал тысячи предположений, рвал на себе волосы, беспрестанно бегал на балкон, смотрел в степь, наводил во все стороны ручную подзорную трубу и плакал, охал, как малый ребенок.

Из посланных некоторые воротились к обеду, другие к ве-

черу, третьи вовсе еще не воротились. Ответ был один: никто ничего не открыл. Беглецы ускакали без следа.

На рассвете длинной темной ночи, в которую никто в доме и во дворе полковника не заснул ни на волос, к крыльцу Панчуковского с громом подъехал экипаж.

– Немец приехал! Шульцвейн! – сказал кто-то, вбегая к полковнику, который лежал, обложенный горчичниками, в постели. На столе стояли склянки с лекарствами. Доктор сидел возле.

«Опять его судьба ко мне в такой час заносит!» – с невольною досадою подумал Панчуковский и молча, с грустной улыбкою протянул руку входившему в кабинет колонисту.

– Ist es möglich?²⁰ – спросил Шульцвейн, грубыми и неуклюжими шагами подходя к кровати Панчуковского. – Есть ли какое вероятие в том, что разнеслось теперь о вас?

– Все справедливо! – тихо сказал полковник, качая головою из подушек.

– Кто же это все сделал?

– Слуга, рекомендованный вами.

– Ай-ай-ай! И я причина вашего разорения, может быть, гибели? Ах, mein Gott, mein Gott!²¹ Я бесчестный человек!

Панчуковский попросил его прийти в себя, успокоиться, сам сел и попросил сесть гостя. В той же синей потертой куртке, с теми же длинными костлявыми ногами, румяный и

²⁰ Возможно ли это? (нем.)

²¹ Боже мой, боже мой! (нем.)

белокуроый колонист уселся, охая и поминутно ломая руки.

– То, что случилось со мной, Богдан Богданыч, могло, наоборот, случиться и с вами. Не в рекомендации дело; вы его не знали и за него не ручались. Дело с беглыми, как видите, у меня оборвалось...

– Но я, я!.. Через меня! Ах, mein Gott, mein lieber Gott!

– Вы мне порекомендовали этого негодяя, зато от вас я впервые узнал и о моей красавице... Что теперь от вас таиться? Шутка судьбы?

Отчаянию и неподдельной горести Шульцвейна, однако, не было границ. Он ходил по комнате, размахивал мозолистыми руками, останавливался, делал тысячи предположений о поимке грабителей, вызывался сам их искать, сам своими средствами; предлагал на первое время часть собственного капитала к услугам полковника, для его первых хозяйственных оборотов.

– Сколько же они у вас всего похитили?

– За двести тысяч... да-с!

Шульцвейн падал на диван, топал уродливыми ногами, вопил, ослабляя розовые сочные губы до ушей, стонал, бил кулаками в стол, себя в грудь и кричал: «Двести тысяч, двести тысяч!»

– Да что вы так выходите из себя? – уже иронически спросил полковник.

– Это деньги нажитые, трудовые! Я знаю труд! Я его знаю! Боже мой, боже, когда бы их нашли! О, если бы их нашли!

– Вы видите, я спокоен. Мне жаль более моей красавицы.

Видите, я вам сознался...

Утром подъехали другие соседи: братья Небольцевы, Швабер, Вебер, Авдотья Петровна Щелкова. Шутовкин вошел, похрамывая и проклиная дорогу. Он особенно нежно и с чувством пожал руку полковника.

– Душа, Володя! Я тебя лучше других понимаю; не денег тебе жаль, ты жалеешь другого сокровища – ее! Она готовилась тебе подарить ангела-сына или, может быть, дочь.

Шутовкин, едучи к новому другу, выпил.

К обеду прискакал Подкованцев. Он был смирнее, не попросил по обычаю ни бювешки, ни манжекать, внес портфель, достал оттуда какую-то бумагу, подал ее Панчуковскому и, обратясь к присутствующим, сказал:

– Меня, господа, берут у вас, гонят в отставку; вы меня не отстояли, а увидите, – без Подкованцева вам житья не будет.

– Нет, мы вас не отдадим...

– Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я тот же-с, как и был! Вы бы послушали прежде мои новости: фаэтон, господа, полковницкий я нашел, и его сюда уже везут...

– Нашли, экипаж нашли! – закричали слушатели и сбегались поздравлять полковника, – а лошади?

– Один экипаж пока, – печально заключил исправник, – экипаж и два пустые чемоданчика на берегу моря, an bord de la mer, messieurs²², только покамест и нашли! Но найдем и

²² На берегу моря, господа (франц.).

остальное. А лошади пали, загнанные вскачь на сорока пяти верстах... Жаль их!

– Как же это нашли?

– Видите ли: новые чиновники-чистуны брезгают приемами отцов и дедов, а мы еще живем по старине. Я гаркнул на моих соколиков, значит, созвал ближайших к городу моих приятелей, то есть разных мошенников-с – извините, – и сказал эйн вениг такое наставление: ищите и обрящете, толцые и отверзется, а чтоб вы мне полковницкие вещи разыскали! Всех переловлю!

– И нашли!

– Нашли пока одно; может, найдем и другое...

Присутствующие стали строить новые планы поисков.

– Деньги Владимира Алексеевича в золоте, значит, появятся либо в портах, либо в Нахичевани. Надо там следить! Да и как следить? Стан за сто верст, суд за сто двадцать! Этакая даль, пустыня...

– Ничего из этого не будет! – решили другие. – Денег не воротишь! надо облавы на этих проклятых беглых сделать; это от них все бедствия идут, оттого что у нас людей без паспортов держат.

– Да вы же их, Дмитрий Андреевич, держите больше всех нас, вы же! – сказал кто-то Небольцеву.

– Хороши и вы. А кто кучера моего передерживал в прошлом году, а?

– А мою девку-с?

– А моего табунщика?

– Да он же не ваш?

– А чей же?

– Он тоже беглый, а не ваш; я потому его и держал.

Авдотья Петровна Щелкова вбежала впопыхах.

– Мосье, фаэтон Владимира Алексеевича привезли!

Все выбежали на крыльцо. У конюшни действительно стоял весь избитый и загрязненный фаэтон. Его привезли на обывательских. Самойло держал его рукою за колесо.

– Что, брат Самуйлик, не думал дожить до такой жалости? – спросил кто-то.

Покачал седою головою Самуйлик и ничего не ответил. Все дворовые ходили как шальные.

– Конец нам, видно, приходит! Бога мы вконец прогневали!

Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «Двести тысяч, двести тысяч! это еще небывалое дело в крае!»

– Как, однако, экипаж отделали! Да и погода грязниться стала. Ишь как потеплело; облака не зимние бегут, будто весной пахнет. Как бы сегодня дождя не было! Распустит, засядем все мы тогда здесь у полковника на неделю...

– И в самом деле, господа, пора бы по домам, – сказал Вебер.

– Погодите, исправник еще ждет сегодня одной справки: он на плавни, в камыши послал лазутчиков: не туда ли скрылись беглецы?

– Весной запахло, больших барышей Подкованцев лишится; теперь от контрабанды им только и житье настает! Недаром же он у моря терся, что там так скоро нашел брошенный фаэтон!

Перед вечером приехал нарочный верховой из-за Андрюшки с вестью от лазутчиков от соседних греков.

Действительно, по слухам, беглецы перебрались к Дону и скрылись в его гирлах, в камышах. Бросив фаэтон, они наняли у каких-то неводчиков повозку, а потом сели на отходившую береговую барку, прошли часть пути водою, по взморью, и скрылись по направлению к устьям Дона.

К ночи еще более потеплело. Пошел дождь. Гости бросились по домам. Исправник заночевал у полковника.

Утром Подкованцев проснулся; над степью плыли теплые непроглядные туманы. Снег исчезал. Поля отдавались уже картинами нежданной-негаданной весны. Мигом в сутки распустило так, что исправник в обеденное время другого дня выехал от Панчуковского в тарантасе, гуськом, в двенадцать лошадей. И то поехал, еле-еле тащась, в океане невообразимой грязи. Дождь пошел и лил три дня сряду. Стала небывалая распутица.

Зато тут же, между двух-трех дождей, среди еще не сошедшего снега, откуда взялась зелень. В степи показались озерки; мелькнули весенние цветы. В облаках затурликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Через новых три-четыре дня в одиноких затопленных оврагах, покрытых леска-

ми, загремели недалекие крымские и кавказские гости – соловьи. В воздухе запахло почками тополей. Дни прояснили. Подул с юга крепкий морской ветер. Туманы уплыли. Пышно засинело у берегов море. А Дон, дробясь мутными потоками песчаных гирл, бурлил, кипел, шумел и катил к нему свои пенистые и привольные воды.

Окна выставлены, о шубах и помину нет. Плуги бороздят уже степи. Стада высыпали в поля. Теплый душистый пар струится и стелется над тихими, веселыми долинками и пригорками. Стада овец пасутся, утопая в парках. А солнце весело-весело катится, и каждый, радуясь отходу недолгой зимы, мигает, с любовью взглядывая на ярко сверкающее небо.

XIII

Облава на беглых

Ускользнув от преследований полиции, Милороденко, Левенчук и Оксана пробрались к вечеру дня, в который на хуторе Новой Диканьке произошло такое событие, к глухой Сасуновой балке, недалеко от морского берега. У Милороденко были везде приятели и помощники. Загнав полковницких лошадей, он очень скоро достал у какого-то прибрежного неводчика новую тройку, и на ней беглецы еще несколько времени проскакали на телеге по взморью. У песчаной пустынной горы они пересели на парусную барку и пошли морем. День был пасмурный. Лодка обошла в тумане ряд береговых мелей и причалила у тощего, чуть видного в камышах, ручья. Тут Милороденко сказал: «Стой, братцы, тут мы выйдем!» – бросил гребцам договоренную плату, надбавил еще на водку, и беглецы пошли вверх по течению ручья, а лодочники, обрадованные невиданным заработком, поспешили снова в море.

Ручей вытекал из степного оврага Сасуновой балки. Там вечер, а вскоре и ночь застала беглецов. Притаща на себе остальные чемоданы, они вошли в камыши, окружавшие истоки ручья, выбрали место посуше, на склоне оврага, у прошлогоднего стога сена, накошенного тут кем-то по низу балки, и сели отдохнуть.

– Ну, Хоринька, не знаю, как ты, а я у лодочника захватил хлеба и рыбки. Садись с подругою да закусывай, чем бог послал.

– Не то у меня на уме теперь, чтоб хлеб есть! Оксана, возьми ты; не затошай – дорога еще не завтра кончится...

Оксана взяла хлеб и рыбы.

– Куда мы денемся теперь? – спросил Левенчук. – Что это вы с нами сделали, Василий Иваныч?

– А! Как куда? Как это – я сделал?

– Зачем это вы у полковника деньги взяли?

– Деньги? Шалишь, братец! Ах ты, простота, простота. Да деньги-то всему сила. С ними, брат, теперь нам море по колению будет, а счастье в ноги нам будет кланяться!

– Не будет!

– Будет!

– А как не будет? Как поймают-то нас теперь, в кандалы закуют да по острогам морить станут, а после в каторгу сошлют, и еще палач-то тебя кнутом отдерет?

Милороденко засвистал, засмеялся, от смеху по траве покатился и опять сел степенно и с достоинством.

– Глуп ты есть и теперь, человек; глуп, брат Хоринька, вижу я, ты и по сей день, с той поры, как я вел тебя сюда! Помнишь ты те дни и те ноченьки, поля без дорог и овраги такие же, как вот и эта трущоба? Вел я тебя тогда ими и умуразуму поучал. Многое я тебе пророчил, да не все сбылось из того! Не все сбылось, многое переменялось тут, а все-та-

ки признайся и скажи, брат, так ли ты здесь дни-то свои коротал, на этом приволье, по неводам, у моря осенью и зимой, или летом по степям здешним, как жил ты, положим, у своей-то госпожи?.. Ну, говори!

– Конечно, оно так; а все-таки, как подумаю: чего же мы с вами, дядюшка, и тут дождались? Бить нас и тут били, невесту у меня и тут отняли...

– А энтакой чемоданище, да еще полный денег-то, решил-ся бы там в своей-то степи украсть, пастухом-то за стадом день-деньской ходючи? А? Говори, ну?

Милороденко взял меньший чемодан и еще в отблеске серенькой, влажной зари раскрыл его. Левенчук увидел связки бумаг и между ними пачки ассигнаций.

– Почитай тут тысячи, десятки тысяч. А? Ведь не решился бы?

– Куда мне! Разумеется, не посмел бы...

– То-то же; а тут ты вон другой человек стал! Тебя, значит, обидели, ну, и ты спуску не дал, да еще где? в самых, так сказать, апартаментах, в кабинете их высокоблагородия полковника, да еще и самого барина-то за белую глоточку этак подержал – не шали, дескать, мы сами люди... не обижай нас! Мы тут вольные!

– Так оно, так, да только деньги эти напрасно мы брали! Куда мы их денем? За ними и погоня крепче будет. Поднимут всех чиновников за нами теперь, всех станowych и заседателей. Взяли бы одну Оксану, они бы нас бросили сегодня

же! Что мы им?

– Барышня, целуйте его! Видите, какова-с верность-то! Ну, целуйте же его, а то буду сердиться!

– Ох, Василь Иваныч! – сказала Оксана, – уж мне ли не клясть моего мучителя и врага? не вам ли я на него плакалась? А погубят нас эти деньги; пропадем мы все за них, и я говорю.

Милороденко помолчал... На дворе стемнело окончательно.

– Вылезь, Хоринька, на шпинек да глянь, все ли тихо кругом; а там покалякаем, сползешь опять.

Левенчук выбрался из оврага, долго слушал, приглядываясь во все стороны, отошел несколько в степь и воротился.

– Ну? Никого не видно?

– Никого.

– Вот же что я надумал, слушайте! – решил Милороденко, – до утра мы выспимся, а утром деньги сосчитаем и поделимся.

– Ничего нам не нужно, Василь Иваныч, – ответили разом Левенчук и Оксана, – мы уж условились; вместе втроем нам оставаться и бурлачить долее нельзя.

– Куда же вы? Так меня уж и бросить затеяли?

– Спасибо вам, а только мы так положили: доберемся до Дону, сядем как-нибудь на барку какую-нибудь, пройдем до Качалина, а там на Волгу, и Волгою либо в Астрахань, либо в Моршанск, – один городок такой там есть, и меня купцы

хорошие туда звали. Я уже и пачпорт припас заранее тогда еще. Они обещали спрятать от всякого дозора и приписать в своем городе...

– Пачпорт? Откуда?

– В гирлах достал.

– У Проскудина Феди?

– У него.

– Ну, это моей фабрики, я угадал! Далее, братец! говори далее...

– А далее, что бог даст. Там и станем жить. Что мы! Дела злого никакого не сделали; нечего и суда бояться, хоть бы и узнали нас когда, что мы беглые.

Милороденко вздохнул.

– Туда так туда! Идите с богом. Рад, что вызволил вас. Оно точно, проживете себе, коли такие уж купцы звали. А там и волю, должно стать, скоро скажут всем. Ну, а деньги?

– Деньги берите вы: на что они нам?

– Как? все?..

Дух у Милороденко замер. Он тронул чемодан.

– Все.

– То есть решительно, как есть, все до копейки?

– До копейки.

Милороденко шапку снял и перекрестился.

– Господи! услышал ты молитву мою. Теперь я богач, каких и в сказках не бывает. Добился, значит, и я до своего! Куда же я теперь пойду-то?

Левенчук и Оксана молчали.

– Пойду я за Несвитай; там у меня солдатка знакомая одна, кума есть. Деньги закопаю у нее, разведу в гирлах, у камышников наших, нельзя ли пробраться за Кубань, либо за Маныч, к киргизам, или на Кавказ? Можно – возьму и богатство, нет – после за ним приеду. И заживу же я, брат Хоринька, теперь уж как следует. На церковь дам, сиротам, бедным раздам какую часть... Что из того, что мы вот беглые? Я-то уж, положим, совсем, пожалуй, порченый, многое затевал. Да зато тихо жил в последнее время у полковника. А вы вот и вовсе ни в чем не повинные. Да присмотрелся я и ко всем-то нашим, что живут вон хоть у полковника. Люди как люди; и как за него-то стояли еще! точно за отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру его Самойле этому чуть кишок не выпустил, как пошел тебя освобождать и развязывать в конюшне, а он на стороже был у ворот ночью. Не совладай я с ним, все бы пропало; да и все они так. А отчего? Нужны они ему больно, он их содержит получше иных-то господ, ну, они за него и горой! Придет времечко, Хоринька, ты с своею хозяйкою дождешься лучшего часу, станешь спокойно жить, припеваючи, а меня тогда не поминай, брат, лихом... Все у меня зудит и теперь еще, точно пихает куда; я уж и не гожусь с вами-то. Ну, а как деньги эти я провезу да на франки и сантимы либо на эти пиястры турецкие променяю, так еще нос утру не одному... В Турцию проберусь, трех жен куплю разом... пашой буду... бес их по-

дери! А полковник-то, я думаю, горячку теперь порет! Да не найдет нас; есть у меня такие уж приятели, – весь край меня знает. Береги, значит, только друга, а денег дам вволюшку теперь всякому.

Утром рано беглецы вскрыли чемодан. Оксана высунулась из оврага и стерегла, не явится ли какой признак погони.

– Мы, брат Хоринька, от Мертвой недалеко, окружили ее; так тут надо быть умнее! Ты там что ни говори, а вот бери, на тебе денег! без них вам не ступить шагу.

Милороденко дал Левенчуку сверток червонцев.

– Не возьму! – ответил опять Левенчук, – пускай они пропадают. У меня свои есть. Недаром же я старался, ее-то ожидаючи! Я другой человек, чем ты, Василь Иваныч: я, брат, бога боюсь.

И он вынул из-за пазухи кошелек.

– Дурень, голубчик, дурень! ох, дурачье вы все! Да что делать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то его боюсь, только не так, как ты. Ну, разводи же огонь...

– Зачем?

– Увидишь.

Левенчук высек огня, собрал сухого камыша и развел на дне оврага костерок. Стог был недалеко.

Милороденко, обшаривший аккуратно чемоданы полковника, золото и серебро завернул особо, а пачки с ассигнациями, банковые билеты и разные счета, бумаги и письма медленно еще раз осмотрел и понес со вздохом на ярко разго-

ревшийся огонь.

– Что вы, дядюшка, что вы? – крикнул Левенчук.

– Не замай! Пусть горит оно и прахом пойдет, не добром нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я его и спрячу ли. А накроют нас, ему же опять отдадут. Да и так уж я тут убытки нес, на этих-то ассигнациях, может, скажут еще, что и это рук наших фабричное дело. А золото как-нибудь провезу...

Левенчук удержал его и убедил лучше все, чего он не возьмет с собою, спрятать в сено.

Оксана без мысли и слов смотрела сверху оврага в одинокую степь. День светлел более и более. Туман уносился. Овраг выходил из утренних сумерек. Камыши шелестели.

– Как бы, однако, стогу не зажечь чужого! – заключил Милороденко, шевеля огонь, чтобы он скорее догорал, и видя, что с костра искры иногда летели на стог, – кто-нибудь добрый человек своей скотинке сена припас! Побереги его, Харько, пока костер догорит, да и до лясу! А я переоденусь тем временем.

Левенчук исполнил просьбу Милороденко и сберег стог, куда тотчас спрятали остальные деньги и чемодан. Беглецы переоделись и пустились вверх по оврагу. Левенчук надел прежний свой мещанский наряд, а Милороденко достал из чемодана статское пальто полковника и другую шапку. Вверху оврага, верстах в трех был вольный шинок. Там Милороденко в шинкаре-конокраде нашел старого приятеля. Левенчук и Оксана оставались в овраге. Милороденко принес им

перекусить и объявил, что за час перед тем тут проскакал становой с двумя гарнизонными солдатами.

– Теперь прощайте! – сказал он, – коли хотите, идите в Святодуховку; через неделю я достану коней и приеду за вами. Поп вас пока укроет в байраке!

Незадолго перед тем между господами-землевладельцами прошла молва, что явился с зимы новый губернатор и что он вознамерился принять брошенные было его предместником крутые меры против беглых. Ему обещал свое горячее содействие ближайший градоначальник, особенно злившийся на бродяг за распространение побережной контрабанды. Все опять мгновенно окрысились на беспаспортный народ, точно до того времени его здесь не подозревали. Стали сновать во все стороны тайные гонцы. Писались экстренные предуведомления по земской и по городской полициям. Потребовали готовности к содействию в случае надобности близстоявших военных команд и в особенности ловких на эти знакомые уже в крае дела донских казаков. Одни из владельцев земель, рыболовен и фабрик радовались этим мерам; другие, и большая часть, говорили против них. «Край беглыми только и держался, – толковали последние, – не будь их, он запустеет; жди еще, пока эти земли заселятся законным путем, пока северное народонаселение сюда хлынет!» – «А история с Панчуковским? – возражали первые, – а постоянные грабежи по взморью, конокрадство в степях, несоблюдение условий найма, убийства, общее растление нравов здешне-

го сельского населения, ввиду покровительства с нашей же стороны бродягам?» Споры местностей и мнений опять загорелись. Возобновилась снова и здесь вечная и знакомая миру сказка войны Белой и Алой Роз. Андросовка шла против Антроповки, Небольцевы спорили с Шутовкиным, Щелкова с Шульцвейном, Мертвые Воды с Доном, а Вебер с своим родичем Швабером. Прошла весть, что кое-где уже оцеплялись города и пригороды. Земские власти делали неожиданные обыски деревень и одиноких степных хуторов. Остроги переполнялись беспаспортными, дезертирами и особым сословием местных бродяг, выдающих себя за людей, не помнящих родства. Под конвоем гарнизонных рыцарей прошли партии пойманных и дознанных беглых. Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей вольготности по несколько сладких и тихих лет. Иные найдены седовласыми и с кучей детей от новых, в бегах припасенных, хозяек. Сколько лет они уже в бродягах, этого и они сами не скажут, не помнят. «Кто ваши господа, где они?» – «А бог их знает! живы ли наши господа теперь, мы не знаем!» – «Когда же вы бежали?» – «До первой еще холеры, в персидскую войну, от набора!» – Сгоняли в города самозванцев-мещан, сапожников, плотников, неводчиков, столяров, слесарей и пастухов. Одних ловили, другие сами шли, услышав ловко пущенный кем-то слух, будто беглым будут в правлениях раздавать земли и водворять их на прижитых ими местностях в качестве вольного народа. Кучи фальшивых паспортов загромождали в по-

лициях допросные столы. Очистив города, власти отрядили отдельные обыски по деревням. Дошла очередь и до тихих окрестностей Мертвой.

– Эка невидаль, что люди без паспортов живут! – ворчал ослепший дьячок отца Павладия, Фендрихов, – опять, вторично, замрет наша окольность по Мертвой.

– Молчи, Фендрихов, не ропщи! Сказано бо в Писании: ропот гневит Господа, и кийждо бо спасения не обрящет! А лучше молись: авось все обстроится, и да мимо идет чаша сия. Не в первый раз нам с тобой терпеть! Помнишь, как люди здесь мерли?..

Так говорил отец Павладий, сильно хворавший и подавшийся с зимы. Он уже почти не выходил из дому, не заглядывал, по обычаю, в свою любимую, весело зеленевшую рощу, или все сидел на крылечке, смотря на косогор в степь за церковь, будто кого поджидая. Но Фендрихов, от слепоты ли или старости ставший очень сердитым, не унимался и все ворчал, сидя с ногами на лежанке в спальне, перед кроватью священника.

– Сказуют, что для порядка! А где порядок? Ты лучше прежде насели вертоград²³ твой, тогда и требуй, чтоб там все было начистоту. Вот хоть бы и наша Оксана. Что же, что она дочь беглого? А жила же у нас, как святая, весь девичий век! Взяли ее, увели, и все у нас осиротело. Вот так и вся земля тут запустеет, ваше преподобие. Так-то-с!

²³ *Вертоград – сад (старослав.).*

– Об Оксане ты не говори! Слышишь? Не говори! Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!

– Не могу, не могу, отче...

– Вот тоже хоть бы и ты, Фендрихов. Ты стар был и хотя-таки с ленцой, а все же церковь подметал как следует, да и подметал, пожалуй, тоже только по большим праздникам. Ну, вот и прислали нам иного дьячка; положим, Андрей наш и молод, и все содержит в чистоте. А что? душа моя ни к чему тут при нем не лежит! И в ограду идешь, ключи берешь; дорожки подметены, песочком усыпаны; бежит Андрей в халатике, суетится, услуживает: а не то, братец, не то... Все не то стало!.. Мир не туда идет!

– Куда же он идет?

– К последнему времени идет...

Так отец Павладий говорил Фендрихову про нового дьячка Андрея, своего же родича, который по поводу исключения своего за грубости инспектору семинарии, несмотря на окончание первым учеником курса, был лишен незадолго перед этим сана священника и права на приход и командирован сюда, в наказание, в простые причетники. Он покорился печальной участи, охотно принял за должность при дяде, сильно обрадовался, что нашел у него множество книг; предался со всем пылом молодой, жаждущей знания душе, стал в часы отдыха (а его, боже, сколько здесь) охотиться с ружьем по окрестностям и сразу заслужил любовь прихожан.

Как-то, съездивши в город за новыми церковными книга-

ми и для расчета в консистории по доверенности отца Павладия, по свечному сбору, он познакомился там с учителем уездного училища, затеявшим, как мы говорили, открыть по соседству публичную библиотеку и сильно в этом разочаровавшимся, и разговорился с ним о том о сем. Он достал у этого учителя еще десяток-другой любопытных книг и, между прочим, стал жаловаться на свою судьбу. «Вы, мой любезнейший, сделайте так, как я! – возразил учитель, – купите десть-другую дешевенькой серой бумаги, да и пишите ваши наблюдения над местными нравами, записок своих не бросайте: они вам пригодятся! Видите, как здесь все быстро меняется; край строится заново. Уже на моих глазах многое изменилось. Вон и дончаки, слышно, затевают улучшения, помышляют о железной дороге и о пароходстве. Не захотите сами в литературу пуститься, вот теперь стать, как я, газетным корреспондентом – отошлите свои наблюдения в географическое общество!» – «Помилуйте-с, еще мне достанется; что я есть такое теперь, по поводу оказанного неуважения моего, так сказать-с, извините, к взяточнику-с и казнокраду, нашему бывшему инспектору семинарии? Я – дьячок и только-с». – «Ничего; многие ваши уже выступают на поприще. Покупайте бумагу и пишите. Слышно, и ваш священник пишет какое-то рассуждение?» – «Отец Павладий-с?» – «Да». – «Так точно-с, пишет что-то, только он больно стал хиреть...» – «А что ваш роман с похищением его воспитанницы? Где она?» – «Бог весть; сказывают, снова ушла с преж-

ним любезным». – «Смотрите же, пишете записки. Библиотека мне не удалась; но я вновь тут около одного мещанишки, кирпичного заводчика, захаживаюсь; он раскольник, может быть, даст денег на журнал; так мы тут тогда на Мертвой, в городке, типографию откроем и журнал станем издавать. Трудитесь, любезнейший; от нас, бурсаков-с, много ждут теперь; вот что-с! Когда б Белинский был жив, мы бы его заманили в покровители». – «Да, да! Когда бы Белинский!.. Вот душа-то была! Мы его тайком теперь в семинариях читаем». – «Ну, коли не Белинского, к другим литераторам письмо напишем – есть хорошие люди! они нам откликнутся! Что ж, что мы нищие и что вокруг нас одни златолюбцы да угодники мамоны живут, тупые, отсталые и злые люди? Мы на них не посмотрим; мы будем работать. Ведь у нас паспорта есть; нас не выгонят, не выведут, как этих теперь бедняков беглых. Так или не так-с?» – «Извольте-с; согласен. Что же это за записки надо вести?» – «О жизни-с, да и о прочем»...

Так беседовали новые приятели, бездельные горячие головы.

Между тем затеянные меры против бродяг шли энергически своим путем. Власти хватали и разыскивали беспаспортных, а между последними в то же время являлись примеры такой прыти, какой прежде и не бывало.

– Жили смирно беглые, никто их не замал! – ворчал снова на лежанке Фендрихов, – стали тревожить их, пошли шало-

сти! Вот так и с пчелами бывает: трудятся золотые пчелки – смиренные, ничего, а развороши их, и беда – озлятся.

И точно, дерзости беглых в ту весну превзошли все границы. Осада Панчуковского, небывалая покруажа у него громадной суммы его же беглым слугою, все это были вещи нешуточные. На берег близ Таганрога с английского судна тогда же высадили и скрыли как-то ночью баснословное количество контрабанды: чаю, сахару, шелковых и шерстяных тканей, пороху и остальных изделий на сотни тысяч рублей. У какой-то переправы высекли квартального, гнавшегося погоней за открытым беглым мясником из городка. На базаре в Керчи зарезали менялу среди бела дня и увезли в свалке его деньги. На дороге, в степи, ограбили губернаторшу. Возле Сиваша, в гнилых болотах, появился настоящий разбойник, какой-то дезертир Пеночкин. О нем и о его похождениях пошли уже настоящие сказки: что будто бы он на откуп взял все пути по Арбатской Стрелке, собирает калым с каждого проезжего и прохожего на сто верст в окружности, что его пуля не берет, что вся его шайка заговорена от смерти, что он зарекся ограбить Симферополь, Феодосию, а потом Мелитополь и завел часть летучего отряда даже на вершинах Чатырдага. Местное воображение и толки разыгрались.

– Слышали вы, какие ужасы рассказывают?

– Слышал, но не всему верю, как другие, недавно еще, впрочем, считавшие наших беглых пуританами, по чистоте

их нравов.

Это говорил Панчуковский, встретившись с колонистом Шульцвейном у мостка, у переправы через бурлившую еще Мертвую.

– Куда вы, Богдан Богданович, едете? Помните, как мы тогда-то встретились с вами, также в степи под Мелитополем? Много воды утекло с тех пор!

– А вы куда?

– На облаву хутора нашей Авдотьи Петровны.

– И я туда же по делу, кстати, разом к ней за речкой и своротим.

– Да-с; не ожидал я от нее. Какова барыня! – сказал Панчуковский.

– А что? Я все это время в отлучках был, по своим овчарням...

Дюжий колонист поправил волосы и стал пугливо ждать ответа.

– Да у нее вчера нашли шестьдесят пять беглых; так и жили у нее слободой. Сегодня продолжают обыск. Это, должно быть, последним подвигом Подкованцева будет.

– Что же, разве с этим добрым Подкованцевым опять что-нибудь случилось?

– Да, говорят, дали ему последнее испытание: коли не выкажет здесь особой бойкости в поимке беглых, его отставят.

– А ваше дело? покража этой баснословной суммы?

– Что за баснословная! еще наживем-с.

Колонист покосился на полковника.

– Что же, едем к соседке?

– А! поедем. Это любопытно!

– Не только любопытно, но и поучительно! – сказал полковник. – Да надо бы его теперь и на церковный хутор нашего отца Павладия направить. Этот священник – известный передержчик беглых; его бы рошу да байраки обшарить.

– Нехорошо, полковник, ни хт гут!²⁴ – возразил с горечью честный немец, отъезжая от моста, – вы с ним враг теперь и на него напускаете такие страсти. Вы мстите ему? вы? Фи! нехорошо!

– Так ему и надо; теперь каждый думай о себе.

– У вас же, полковник, все беглые похерены?

– Нечего делать, придется и мне с моими проститься – сам ездил в город, привел уже одну партию настоящих работников; всех переменяю, ни одного теперь бродяги не стану держать, ну их к бесу! Только теперь еще молчу; разом всех прогоню...

Полковник с немцем поехали к Авдотье Петровне, над которой стряслась такая черная беда в виде наезда исправника по поручению губернатора.

Отец Павладий между тем в тот день перед вечером был изумлен появлением неожиданных гостей.

Он, по обычаю, теперь сидел с утра до вечера в зале, в

²⁴ Плохо! (нем.)

старом потертом кресле перед окном, читая какую-нибудь книгу, и собирался тогда переместиться на крылечко, где он на воздухе любил ужинать, как во дворе его у кухни произошла суэта. Сперва вбежал было к нему, шелестя новым камлотовым подрясником, его племянник – дьячок Андрей. Но Андрей вскочил только в сени, постоял как бы в раздумье и выбежал опять на крыльцо. Слышались голоса; говорил кто-то шепотом. Заскрипели половицы под знакомыми пятками Фендрихова. Слепой друг долголетней жизни отца Павладия вошел, ведомый своим преемником, и, ощупывая стены и притолоки, остановился в зале у дверей. Лицо его изменилось и сияло необычайным чувством радости и ликования.

– Что такое с тобою, Фендрихов? ты на себя стал не похож!

Священник заложил очки на лоб и, ожидая чего-то невероятного, покраснел; руки его дрожали, косичка моталась на затылке.

– Говори же, что там такое? Ну? Что ты глядишь на меня, Андрей?

– Оксана, батюшка... она сама... пришла с Левенчуком! Идите отворяйте церковь, венчайте их скорее!

Отец Павладий встал и вышел в сени. Ему навстречу на пороге поклонились до земли Оксана и Левенчук. Он сперва было не узнал Оксаны. Измученная столькими событиями, она сильно изменилась в лице, но была так же хороша, если еще не лучше...

– Оксана, Оксаночка моя! – залепетал отец Павладий,

всхлипывая, дрожа всем телом и крестя лежавшую у ног его Оксану.

– Благословите нас, батюшка, отец наш названный, меня и его благословите! – сказала Оксана, также плача и не поднимаясь.

– Благословите и венчайте; за нами скоро будет погоня! – прибавил Левенчук, – нам либо вместе жить, либо умирать!

– Погоня? Куда? Ко мне! Это еще что? Этого не будет!

– Сюда, батюшка, сюда; мы покинули барку у Лисьей Косы, а сюда приехали на неводской подводке. Нас по барке найдут; мы всю ночь ехали на чумацком возу под рогожами с мешками муки.

– Вставайте, вставайте! Бог вас благословит! Ах вы, соколки мои! Ах ты, Оксаночка моя! и ты, так вот, это как есть, на возу-то тряслась...

Священник не договорил. Он не мог без слез видеть своей нежно любимой питомицы. Она стыдилась глаза поднять.

– Нужда, батюшка, всему научит! – грустно сказала Оксана, – неволя как добьет, то и воля не всегда лихо залечит!

– Андрей! Фендрихов! живо! Ключи где? Отпирайте церковь! Огня давайте да в кадильницу ладану!

Слепой и зрячий дьячки засуетились. На дворе наступила ночь.

– Свидетели есть у вас?

– Вот их милость будет! – сказал Левенчук, указывая на молодого дьячка, – наш возница-неводчик заручится тоже, и

довольно, – а тетка Горпина?.. Она еще жива? Дитя ее живо?

– Живы, живы! хорошо. Поспешайте, а я вот ризу возьму.

Левенчук пошел звать подводчика. Оксана вздыхала, крестилась, подходила к каждой вещице в комнате, трогала ее, пыль с нее обметала, целовала и слезно плакала-плакала.

– Здравствуйте и навеки прощайте! – шептала она.

– Расскажи же ты мне, Оксана, как это тебя украли? – спросил священник сквозь двери, наскоро переодеваясь в спальне.

Оксана передала все, что могла успеть.

– А он-то, антихрист, он-то? изверг-то этот? Как он-то мучил тебя?

Оксана молчала, не поднимая заплаканных глаз.

– Ну, да я не буду тебя допытывать; горе, горе такое, что и трогать-то его не следует! Смотри же только, Оксана... хоть дитя-то теперь твое незаконное будет; хоть оно прижито тобою... в неволе, насильно, а все-таки береги себя, береги и его; оно все-таки плод твой, дар бога живого! Не проклинай его, корми, люби и воспитай! Даешь слово?

Священник вышел и торжественно стоял перед Оксаной.

– Разве я уж, батюшка, нехристь какая, что ли? Что случилось, было против моей воли; я вся измучилась, изболела. За что же оно-то мучиться будет? Да и что нас еще ожидает? Ведь мы – бродяги, бродяги, батюшка! Нам места нет...

Она снова громко зарыдала и упала на стол, обливая слезами его знакомую, вылощенную столькими годами тесовую

крышку.

– Господь смилуется и над вами, Оксана! Пойдем в церковь.

У паперти Фендрихов беседовал с Левенчуком. «Так ты это ее так, как есть, принимаешь, с чужою прибылью?» – «Что делать, принимаю!» – «Молодец парень! Руку!..»

Все вошли в церковь. Свечи уже горели. Слепой Фендрихов чопорно стоял в стихари на клиросе, готовясь петь. Священник возгласил молитву. Свидетели опрошены, записаны. Отец Павладий скрепил своей подписью их спрос и обыск. Молодые поставлены перед налоем. Священник взмахнул кадильницею. Запели молитвы. Надеты венцы.

– Любите ли вы друг друга, сын Харитон, и ты, дочь моя, Ксения?

– Любим.

– По своему ли согласию и по своей ли воле венчаетесь?

– По своему согласию и по своей воле.

– Бог вас благословит!

– Аминь! – пели дрожащие и вместе радостные голоса с клироса.

А солнце ярко светило в узкие окна церкви, где впервые некогда увиделись Левенчук и Оксана. Акации и сиреневые кусты, одевшись яркою кудрявою зеленью, окутывали по-прежнему церковь, и она в них тонула по крышу. Выщелкивания соловьев мешались с возгласами отца Павладия и с клиросными перепевами. Поменяв кольца венчаемых, свя-

зав им руки и обведя их вокруг налоя, священник кончил обряд, поздравил их, заставил поцеловаться, обнял их и сам в три ручья расплакался. Плакали Фендрихов и молодой дьячок. Старая Горпина, не сберегшая год назад Оксаны, также тихо плакала в церковном углу, прижимая к груди дитя свое, некогда так лелеянное Оксаною.

– Что же у тебя есть, Горпина, молодых угостить? – спросил священник, выходя в ограду, – они теперь князь и княгиня у нас!

Темным церковным двором, со свечами, все воротились к дому.

Вошли в комнаты и там накурили ладаном. Оксана села беседовать с Фендриховым. Священник занялся с Левенчуком.

– В прошлом году я с тебя требовал выкупа; теперь я сам тебе дам на подъем. Ты, чай, без копеечки теперь обретаешься, горемыка?

– Спасибо, батюшка, за все; будет чем вспомнить вашу милость!

Священник ушел в спальню, порылся в заветных сундуках и вынес Оксане радужную депозитку.

– Вот тебе, Оксана, мое приданое! обживетесь где, известите меня, – еще будет... Ведь я тебе отец и воспитатель! Эх, счастлив я теперь больше, чем когда был...

Оксана поклонилась ему в ноги. Священник сел опять к Левенчуку.

– Слушай сюда, слушай, Левенчук! – спросил он шепотом, – те же деньги, казна-то полковника, где? Милороденко где?

– Я, ваше преподобие, про то не мешаюсь. Товарищ мой взял их, точно; да я ему не судья. Мы его скоро бросили; мы сами себе люди, и он себе человек! Я чужого никогда не брал и брать не буду....

– Так и следует, так и следует; ну спрашивать я больше не буду... Я, брат, тебе верю во всем...

Горпина накрыла на стол, поужинали все вместе. Были вынуты три бутылки какого-то заветного вина. Призывали и молчаливого приморского возницу к угощению.

Так сидели пирующие, беседовали и попивали, мало спрашивая и щадя друг друга. Далеко за полночь дом священника затих. Все в нем заснуло. Не успело утром солнце взойти, поднялся в доме шум.

Вбежала старая Горпина к священнику.

– Батюшка! там от немца с горы ряд каких-то людей показался! не то идут, не то едут, словно понятые с сотским!

Все выскочили за ворота. Точно: со стороны хутора Вебера двигались какие-то фигуры.

– Спасайтесь, поезжайте, бегите! это обыск, обыск! – закричал священник, и все опрометью кинулись во двор обратно. Левенчук бросился наскоро запрягать с подводчиком воз. Но выехать они не успели. Священник посоветовал волов опять распрячь, закатить воз в сарай, а всем спрятаться

в байрак. Левенчук с Оксаной так и сделали, побежали туда.

Пройдя наскоро мимо церкви к пруду, они вошли в крайние кусты, и некогда дорогой им ракитник опять скрыл их в своих зеленеющих развесистых кущах.

– Как тебя звать? – спросил священник ухмылявшегося неводчика.

– Степанком.

– Ты же, Степан, поезжай сам в поле, им же навстречу, будто так муку везешь. Слышишь? А я, будто гуляючи, за тобой следом пойду...

– Извольте.

– Валяй, Степан!

Волов опять запрягли.

Воз поехал, а за ним пошел отец Павладий; в полутора версте от Святодухова Кута их встретил исправник на дрожках и за ним человек сорок понятых с сотским. С другой стороны, из-за хутора Вебера, показывалась в поле, под предводительством другого сотского, новая толпа понятых. Все действовало по заранее составленному предположению.

– Воротитесь, отец Павладий! – сказал исправник, улыбаясь, держа в руках бумагу и останавливая священника. – Я все понимаю... воротитесь!

– Как так! Я не согласен; это насилие сану! – сказал священник.

– Сотский, возьми подводу и этого батрака: извините, отец Павладий! Не угодно ли вам сесть со мною на дрожки?

Волеы эти краденые, а батрак ваш – известный контрабандист Савва Пузырный, – мне дали знать только что наши лазутчики, что он к вам отвез и главного из разыскиваемых нами беглых...

Священник оторопел, засуетился, потерялся.

– Пожалуйте-с и покажите нам, где у вас укрылись здесь главные бродяги, беглый чабан помещицы Венецияновой, Харитон Левенчук, и ваша бывшая воспитанница, а попросту-с его любовница, не помнящая родства-с, девка Ксения?

Отец Павладий очнулся.

– Вы забываете, милостивый государь, уважение к моему званию! у меня никого нет из беглых и не было, я ничего не знаю и прошу вас подобных обвинений мне не предъявлять всенародно!

– Полноте! – сказал, улыбаясь, Подкованцев, – исполняю свой долг; прошу вас садиться со мною. Не задерживайте нас!

Нечего делать, священник сел на дрожки.

Они подъехали к святодуховскому двору. Двор и сад наскоро были оцеплены толпой понятых. Другие понятые оцепили байрак и пруд.

Исправник распорядился скоро и как-то беззвучно метался; везде все устроил, стал на крыльце, спросил: «Все ли на местах?» – велел вынести к крыльцу стол, разложил бумаги, достал кисет с табаком, набил трубочку, поставил свидетелей, улыбнулся и начал было допрос, но потом остановился.

– Что же вы не продолжаете? – спросил священник, вышедши к исправнику.

– Подождите, не торопитесь! Вот мы еще гостей подождем, свидетелей, чтоб протокол составить как следует! Я вам не судья – будут судить другие!

Священник сел к стороне, на особом стуле. Он думал: «Боже мой! что, как их найдут?» Подъехали старший Небольцев и с ним еще кто-то.

– Грех вам, батюшка! – сказал он, подходя, – вот-с нас всех известили, что вы главный притон нашим грабителям в своей роще устроили!

– Кто же вам это сказал? Так про меня одного и сказали?

– Все говорят.

На отце Павладии лица не было.

– Понимаю, вы меня обвиняете в покровительстве беглым, что через меня они смелы и дерзки стали. Господа! Я тридцать лет тут, в этой пустыне, прожил; при мне строились и возникали ваши села и некоторые ваши города. Недочеты, обманы, всякие притеснения возмутили ваших беглых. Они мирно доселе жили. Край здесь изменился, нравы другие пошли. Не я беглых передерживал; обыщите других.

– Вы слышите, слышите? – спрашивал исправника Небольцев.

Подъехали Шульцвейн и Шутовкин. Эти обошлись с священником мягко и вежливо.

Вставали уже, составив предварительные статьи протоко-

ла, чтобы идти, как загремели колеса и послышался знакомый звук колес и рессор полковницкого фаэтона, и Панчуковский, по-прежнему щегольски разодетый и веселый, выпрыгнул из фаэтончика, ловко снял красивую соломенную панаму, подал дружески руку всем, кроме священника, поклонился исправнику. Священнику же он сказал, обмахивая платком пыль с лаковых полусапожек: «А мы с вами, батюшка, старинные друзья, не правда ли?» Священник кашлянул и сухо отворотился.

– Ну-с, – начал Подкованцев, – очень рад буду, господа дворяне, что при вас лично привелось мне исполнить мой долг; коли это мне не удастся – гоните и судите меня сами...

Все сошли с крыльца. Общее молчание было мрачно и торжественно.

– Сотские, начинайте. Сперва с кухни и с амбара, а потом в погреба и на чердаки! Дом я сам обыщу.

– Так она здесь? – страстным шепотом допытывал Шутовкин полковника.

– Здесь! – рассеянно ответил Панчуковский, вспоминая роковую чудную ночь, когда он похитил здесь Оксану.

– Почему вы узнали?

– Приказчик мой их обознал, у шинка Лысой Ганны, знаете?

– Знаю, знаю! Так и ее прежний жених тут?

– Здесь, должно быть.

– И она, как была, еще с овалцем? Вот полюбуюсь кро-

шечкой! Доведется-таки и мне ее увидеть!..

Облава началась, как на охоте. Гонцы шли тихо с дубинами, а сотские по крыльям порядок держали. Они осматривали каждый хлевушек, каждую ямку и все уголки. Обыскали кухню, амбары, погреба, конюшенный сарайчик и дом. Не нашли никого, кроме забившейся под свиное корыто и перепуганной до полусмерти тетки Горпины. Обыскали церковную ограду, даже церковь, пруд и сад.

– Они в байраке! я знаю! – шепнул Панчуковский, подходя к исправнику, обыскавшему между тем дом священника.

– Соединить всех понятых вместе! – крикнул Подкованцев, – сотские! Да идти дружнее; не пропускать ни единого кустика, ни одной водомоинки.

– Послушайте! Десять тысяч целковых вам! – шептал между тем Панчуковский исправнику, – это будет не взятка, а благодарственный законный процент! Ради создателя – найдите их, через них вся моя разграбленная касса найдется!

– А я полагал, Володя, что ты и по правде более за красоточкою этою хлопчешь? – возразил, шутя, Подкованцев.

– Куда мне! Я уже о ней забыл и думать! Спросите Шутовкина; я ему ее обещал передать...

Священник сам не свой стоял поодаль от господ и сыщиков. Он силился быть спокойным, но сердце его било тяжелую тревогу. Облава пошла к байраку. Понятые стали более густою цепью с обоих краев оврага. Часть из них стала по опушкам настороже. Все же остальные пошли внутрь в ра-

китник и в камыши к ключам. Долго они шли, тихо шелестя между кустами и деревьями.

– Это совершенно во вкусе «Хижины дяди Тома», – заметил Митя Небольцев.

– Далась-таки опять вам эта галиматья, эта хижина! Ну послушайте, господа! – продолжал Панчуковский, – ну, есть ли хоть тень сходства между нашими беспаспортниками и американскими поэтическими неграми, или между нами, господа, и тамошними рабовладельцами? Как небо и земля!

– Как небо и земля! – сказал и Подкованцев, идя за сотскими к месту выхода гонцов, – уж там, как у нас, бювешки не дадут...

– А что? ничего нету? – спросили зрители.

– Ничего! – лениво ответили гонцы, вразброд выходя на опушку.

«Что бы это значило? – подумал Подкованцев, – куда же они делись?»

– Стой, стой! держи его! стой! – нежданно и в разлад крикнули голоса понятых в чаще байрака.

Все остальные гонцы также кинулись туда. Изумленным взорам исправника и помещиков открылась драка в гущине камыша, над ключами. Куча понятых старалась кого-то осилить. Ловимый отмахивался дубиною и кидался на всех.

– Не подступай, убью! – кричал он.

– У него и нож! – кто-то обозвался в толпе, и понятые отшатнулись.

Подбежал исправник.

– Лови его, хватай! чего вы стоите! Бери, вяжи его!

Понятые опять кинулись, навалились гурьбой на пойманного, сбили его с ног; произошла схватка на земле, и опять толпа отхлынула. Трое из нее охали, хватаясь за руки и за лица. Кровь текла по их рубашкам.

– Братцы, не тронь меня: я Пеночкин; я зарученный! – бойко проговорил пойманный, выпрямляясь, – тронете меня, всем пропадать!

– Врешь! – раздался сзади голос Панчуковского, – берите его, это Милороденко; стреляй в него из ружья, сотский, только бей насмерть, коли заупрямится!

– Ружье сюда и мне! – крикнул исправник, – сдавайся, мерзавец, или я тебя положу...

Толпа зашумела. Священник глазам своим не верил. Он желал видеть Левенчука и Оксану, а прежде их увидел человека, которого назвали роковым именем Милороденко.

– Как ты попал сюда, негодяй? – спросил он его, – ты меня погубил: ты в моей роще спрятался!

– Батюшка, не бойтесь! Они тронуть вас не посмеют! Что делать! Я здесь случаем-с. Пропал теперь совсем! Так пусть их высокоблагородие вас не тронут, ослобонят далее от обыску, я их казну им укажу, она у меня далеко запрятана, да я далеко, видите, не ушел – пути мне пересек господин Подкованцев. Я тут-то, поблизости, это, и шлялся! А не исполните просьбы моей, будете задаром срамить батюшку, –

умру, а ничего не открою!

Панчуковский переговорил с исправником, понятых со-звали. Священнику объявили, что так как один из главных грабителей и преступников пойман, то дальнейший обыск более не нужен.

– Это вам, однако, вперед, батюшка, наука, – сказал Небольцев, – будьте осторожнее! А то мы недаром вас под-зревали.

– Мастера вы все, господа, учить; не раскаться бы после!

Милороденко добровольно сдался. Погодя еще и как бы подумавши, он крикнул... Из байрака, как после узнали, из водомоины, полной листьев и всякого хлама, вышли Левен-чук и Оксана. Изумление было общее.

– Край чудес! – шептал торжествующий Подкованцев.

Всех найденных тут же связали, осмотрели, заковали, и сам исправник с Панчуковским посадили Милороденко и Левенчука в фаэтон, повезли их в город для допроса. Оксану повезли особо в тарантасе исправника.

– Не повезете ее со мною, – сказал Левенчук, – ничего не узнаете про деньги, хоть убейте сразу нас обоих.

Делать нечего, Панчуковский уступил, даже защитил Ок-сану от взоров любопытных, а Шутовкину, который, млея, лез посмотреть на нее, даже погрозил поссориться.

Поехали исправник и Панчуковский, не мешкая. На поло-вине дороги их встретил становой, с новой толпой понятых.

– Что такое?

– Настоящего Пеночкина поймали!

– Где поймали? Где он?

– В степи тут, в шинке, вот он!..

Толпа раздвинулась – у телеги, привязанный к ее колесу, стоял и посмеивался действительный Пеночкин.

– Связать его покрепче и также в город! Ай да денек! Теперь уже в отставку не выгонят; лишь бы жилось на свете...

– В город, в город!

Фаэтон полетел. Милороденко стал о законах рассуждать.

– Ты же где этим статьям про уголовные законы учился? – спросил его исправник дорогою.

– В академии художеств, в остроге-с тутошнем, где я впервые всю суть познал-с и произошел.

– Как в остроге?

– Известное дело-с; у нас там свои-с профессора и адъютанты есть! Вот когда был женат на барышне, в Расее-с, у нее братец двоюродный в студентах был-с и жил часто с нами; так нет-с, его профессора супротив наших куда хуже, наши почище будут. Ихние только о книжках...

XIV

Приморский городок

Фаэтончик, запряженный новой четверней, летел вскачь опять тою самую дорогою, по которой некогда полковник встретился с Шульцвейном. Опять степь пышно зеленела. Опять по ней густо цвели, ее заливая, желтые и всякие цветы. Десять человек казаков скакали верхами возле.

– Эх степь, степенка! – говорил Милороденко, водя кругом грустными и вместе смеющимися глазами, – раздольице ненаглядное! Не нам вот с Левенчуком больше тобою любоваться! Теперь уж я пойду подошвы топтать по нашей Раеюшке! Пожил я-таки, господа, вволю; и у вас, господин Подкованцев, и у вас, полковник, нанимался; что? бес взял – на дворянской девице был женат, пожил, постранствовал в свое удовольствие! Вот теперь и попался. А все отчего? Что паспорта настоящего мне господином не выдано: раб я подневольный был, есмь и опять буду, значит, вовеки... Господа, позвольте табачку! Я знаю, становые больше коллежского секретаря, а исправники больше титулярного не бывают! Я же еще теперь пока настоящий миллионер! Владимира Алексеича казна ведь, господа, еще у меня спрятана...

Панчуковский сидел бледно-зеленый, но показывал вид, что тоже отшучивается.

– Дайте ему, Подкованцев, табаку на папироску! А у меня

пистолеты, нечего их бояться! – прибавил он шепотом.

– На, вор, только штуки со мной какой не выкинь: не осрами и не погуби меня! Я за тебя вон награду получу...

– Помилуйте! я же и у вас служил; люди мы свои, законы-с и уважение знаем-с.

Дорогой они остановились, опять осмотрели закрепы Левенчука и Милороденко.

Стемнело, когда исправник и Панчуковский, после двукратного перевала на пути, взятия новых провожатых и перемены лошадей, въехали под шлагбаум присутственного, значит чиновного, хотя весьма утлого и невзрачного приморского городка, лежавшего близ речки Несытой. Их окликнул часовой у городской гауптвахты. В городских воротах, не могли высоко поднять связанной руки, Милороденко попросил ему приподнять шапку, и перекрестился.

– Вот как! еще и крестишься! – сказал, суетливо оправляясь и едва говоря от усталости, исправник.

– Меня Сенька Кривой, один тоже вот острожный приятель, в Киеве, учил при проезде каждого часового креститься. А он знал все знания; антимины из православных церквей все раскольникам крал и поставлял. Его клейменного прогнали сквозь две тысячи и сослали в каторгу-с. У него кума в остроге была.

Подъехали к дому градоначальника. Подкованцев, не веривший своему счастью в поимке таких героев, спешил ими оправдать себя.

– Что значит, господа, приморский воздух! – заметил Милороденко развязно, зевая впотьмах, – как свежестью запахло! А все-таки, Владимир Алексеич, я вам денег не отдам – они, считайте, пропали.

Солдаты окружили фаэтон. Исправник сбегал к дежурному чиновнику. Через четверть часа вышла новая, вызванная из соседней кордегардии, команда под ружьем.

– Это тот самый Милороденко, – сказал Подкованцев чиновнику, – а это тот самый его товарищ Левенчук, что ограбили на днях вот их, господина Панчуковского; доложите его превосходительству, что я их сегодня выследил, поймал и лично доставил.

Принесли фонари. Арестанты молча стояли. Чиновник сбегал к градоначальнику.

– В мешок их! – крикнул чиновник, воротившись, – велели их в острог вести, в секретную.

– Прощайте, барин! За вами еще жалованье за два месяца! Не поминайте лихом; с Амура писать буду! – крикнул Милороденко Панчуковскому.

Подъехала в тарантасе Оксана. Всех повели в острог. Градоначальник дал полковнику слово сделать арестантам допрос в ту же ночь и допытать их о деньгах.

– Во всем сознаюсь, будьте спокойны! – развязно прибавил Милороденко, – мне ведь надо позаботиться о моем друге Левенчуке и его приятельнице-с... Их только спасите...

– Bravo, bravo! – сказал Подкованцев, уезжая в гостини-

цу, – как мы скоро дело обделали! За вами, полковник, теперь ужин.

– Не только ужин, целое вам наследство! Это вам лучшая пенсия за службу!

Отправились в гостиницу. Туда вскоре явились частный пристав, уголовных дел стряпчий, два чиновника особых поручений по казусным делам. Подано шампанское, заказан лукулловский ужин. В лучший номер поданы карты. Завязался штос. Проиграли до ясного белого дня, не вставая.

– А ваша супруга, полковник? Она до сих пор здесь в городе живет? – спрашивали подкутившие собеседники.

– Действительно, моя жена, брошенная мною, приехала сюда в город. Но она обзавелась тут, господа, утешителем: какой-то учитель. Вы уже запоздали...

Все захохотали. Еще цинически поострили над m-me Панчуковской.

Гости разошлись, пошатываясь. «Вот чудная душа, этот Панчуковский! – повторяли все, уходя, – сейчас видно, и бонвиван и настоящий аристократ!..»

Утром весь город заговорил о случае с Панчуковским, который сюда завертывал редко и которого здесь более знали по слухам. Он являлся к градоначальнику. Последний оказался его знакомым по Петербургу и чуть даже не сверстником по службе в другом ведомстве. Главных чиновников Панчуковский тоже объездил. Дело его закипело. Преступников стали ежедневно допрашивать. Но те вдруг заперлись

о деньгах, что никогда их не видали и не грабили полковника. «Зачем же вы бежали от него?» – «Избавили украденную им у священника такую-то девушку».

Шли толки о том, что дело принимает новый вид, что чуть ли Панчуковский, сочиненным слухом о пропаже денег, не думает замять дело о собственных похождениях с воспитанницею священника.

Это говорила молодежь из чиновников. Люди зрелые ударились на соображение, как выманить у преступников сознание в том, куда они спрятали такую чудовищную сумму. Следователи входили в секретную, заставляли Оксану на соломе больную, молчаливую, Левенчука возле нее, а Милороденко на коленях перед образом: он молился и, действительно, казалось, не был виноват ни в чем из того, в чем его винули.

Прошло две недели. Полковник начинал вопить о медленности наших допросов, доказывал, что мы рано бросили пытку...

В обед в номере Панчуковского сходилась вся городская аристократия. Кушали, играли в карты, пили. Передавали слухи и о деле и об арестантах. Прокурор сообщал постоянно все новости о них: о чем они сегодня говорили, какие данные вновь сообщали.

– Жаль эту девушку, – говорил иногда прокурор, – она такая тихая, скромная, все плачет; и возлюбленный ее, кажется, малый смирный и жил прежде честно. Они, впрочем, назвались нам мужем и женою на допросе.

– Вот это забавно, – сказал Панчуковский.

– Да, вы не верите, мы собрали справки – и точно, они обвенчались после поимки их, у этого самого вашего священника, отца Павладия, где она жила воспитанницей.

– Чудеса! как скоро успели!

– Зато их коновод, Милороденко этот, вам, Владимир Алексеич, настолько близкий, существо непостижимое! Он во всем сознался: и в занятии контрабандой, и в связях с нахичеванскими фальшивыми монетчиками, а в грабеже ваших денег не сознается!

– Нельзя ли как, хоть одним глазом, посмотреть на этих арестантов? – спрашивали прокурора частные посетители полковника.

– Меня одна дама просила на Милороденко взглянуть.

– Меня просила моя невеста взглянуть на эту девушку, нашу героиню!

– Нельзя, господа, нельзя теперь никак!

– А когда же?

– Дня через три можно.

– Слово? честное слово? Отчего же через три дня?

– Честное и благородное, вот вам моя рука; сам я и поведу.

Им кончится тогда весь предварительный допрос. Туда же я, к вашим героям, посадил и нашего другого героя...

– Кого, кого?

– Пеночкина, дезертира, вы слышали? Этого разбойника с Сиваша! Он на прошлой неделе взят под шинком Лысой

Ганны и доставлен сюда, по соприкосновенности в главных преступлениях с нашим городом. Так я и его вместе с Милороденко и Левенчуком посадил. Им дан теперь лучший и надежнейший каземат во втором этаже, рядом с башнею. Небось не уйдут.

– Есть же что-нибудь еще новое о деньгах?

– Завтра преступникам последний допрос, сегодня они как-то взволнованы от моих розысков и просили их отложить. Завтра, завтра наутро все решится. Им поставится главная улика – жид Лейба из шинка Лысой Ганны. Он видел Милороденко и Левенчука в день их побега от полковника, и они ему показывали какой-то чемодан. По справкам и приметам это чемодан полковника.

– Так мне, выходит, еще ожидать? – спрашивал полковник. Его начинало мучить; он чувствовал, что дело его гибнет.

– Дня два еще подождите, ведь дело идет не о десяти рубльях. Сами будете и следить завтра за допросом и открытием вашей покражи.

Панчуковский со вздохом принял предложение прокурора, осведомился о городских удовольствиях того дня и узнал, что в городе в тот вечер был театр. Он взял билет и пошел туда почти нехотя.

Ему не очень весело сиделось в театре. Играли какой-то избитый водевиль. К нему подсел секретарь градоначальника, правовед и франт, пустота и неизвестно почему желав-

ший казаться близоруким. «Что вы подделываете?» – спросил он. «Хочу выписать из-за границы себе на содержание итальянку». Острота эта пошла по театру.

В конце представления неожиданно пронеслось между зрителями волнение. Вошел в партер бледный полицеймейстер-молдаванин. Окинув залу мутным взором, он не сел на свое место, а подошел сперва в первом ряду к городскому голове, ему что-то сказал, голова сейчас оставил театр; потом полицеймейстер вошел в ложу градоначальника, куда уже перед тем по пути заходил, и с ним тотчас также уехал из театра.

– Что такое, что случилось? – шушукались зрители, – пожар, что ли?

– Опять отличилась наша полиция: все главные арестанты бежали два часа назад из острога! – ответил кто-то вполголоса в креслах.

Панчуковский вздрогнул, встал, подошел, задыхаясь, к разговаривавшим. Занавес в это время опустился.

Никто не аплодировал. Все занялись роковой вестью. Вокруг секретаря градоначальника столпился весь партер.

– Они подняли половицу под нарами в каземате, – говорил, шурясь и лорнируя ложи, секретарь, слышавший разговор головы с полицеймейстером, – распилив ее гвоздем из оконницы, стали каждую ночь опускаться под пол; между полом верхнего этажа и сводом нижнего проникли в башню, запертую у нас, как известно, в остроге за негодностью с дав-

них пор, сошли по лестнице башни вниз, начали копать под стену башни, прокопались под наружную ограду, и сегодня главные, а за ними и остальные ушли. Они копали нагишом, а землю в рубашках таскали и рассыпали под полами. Там вся команда рыщет теперь с фонарями; погоня поскакала...

– Кто убежал? – спросил Панчуковский, еще не веря своим ушам.

Голос его дрожал. В глазах у него помутилось.

– Все главные воры и негодяи, Пеночкин, например, да и ваши-то... да-с... Милороденко и Левенчук, а с ними тоже и эта, знаете, полковник, женщина... Наш бедняк полицеймейстер совсем потерялся. Генерал велел поднять на ноги все городские полицейские силы...

Шумно разнеслась по городу ошеломляющая весть.

Панчуковский без памяти выскочил из театра. Извозчиков уже публика разобрала. Он почти побегал в свою гостиницу. По дороге, у одного освещенного дома, он остановился перевести дух. Из полуоткрытого окна неслись звуки рояля. Пел чей-то приятный женский голос. У ворот стояла щегольская пролетка; кучер дремал, завернувшись в армяк.

– Чьи лошади?

– Учителя. А вам что?

– Какого?

– Головы-с... – ответил кучер, увидев на Панчуковском кокарду и приподнимая шапку.

– Кто ваш учитель?

– Михайлов, Иван Аполлоныч.

Панчуковского озадачило.

– Из Одессы? бывший студент? что у Шутовкина в том году жил?

– Так точно-с.

– А у кого это он? Квартира тут чья? Я что-то не разберу...

– Настасья Васильевна-с, полковницы Панчуковской-с...

Панчуковский отскочил. Из окна в это время раздался голос:

– Софрон, ты тут? подавай.

– Сейчас.

Не помнил Панчуковский, как добежал до гостиницы.

«Так вот она, судьба-то, с кем жена моя сошлась! – мыслил он. – Правду же, значит, говорят городские толки! И она явилась искать со мной сближения? Письма ко мне писала, а теперь справки против меня собирает! Процесс затевает...»

На столе в номере гостиницы он застал письмо исправника.

«Не я, Владимир Алексеич, виноват, если вы сдались на здешние городские власти после того, как я вам поймал ваших похитителей, и не протестовали против того, что они в одном каземате соединили Левенчука, Милороденко и Пеночкина, уже сидевшего здесь в остроге и прежде бежавшего; в эти дни они обдумали и исполнили дерзкое небывалое

дело. Полицеймейстер тут кругом виноват. Но я опять предлагаю вам свои услуги. Теперь уже надо нам самим действовать! Из ближайшей подгородной корчмы мне сейчас донесли, что след бежавших показался по направлению к Дону, к гирлам, и именно к неводам купца Пустошнева. Там место самое глухое и удобное для скрyтия. Держите это пока в стрoжайшем секрете; сейчас нанимайте тройку добрых лошадей, возьмите с собой оружие, выпросите себе у генерала жандарма в провoжатые, переоденьтесь получше и спешите ночью же ко мне. Я вас буду ждать в стороне от большой дороги, у трех курганов, называемых могилою Трех братьев, на девятой версте. Посылаю с нарочным. Желая от души успеть.

Ваш *Подкованцев*».

Панчуковский съездил к градоначальнику, выпросил себе в провoжатые жандарма-солдата, переоделся, достал у хозяина гостиницы охотничий штуцер, зарядил один его ствол картечью, а другой пулею, сел на приготовленную добрую тройку и поехал. Он платил щедро. Все смотрели на него с сожалением.

Ужас пронимал его при одном помышлении, что все его труды, усилия пропадали навсегда.

«Дурак я, дурак! Зачем я так надеялся? может быть, деньги в это время уже были бы у меня в руках! А я занялся городскими удовольствиями; на стены острога понадеялся...

две недели ушло! Селедками бы покормить было, хоть через сторожа, этих арестантов; за червонец эту пытку бы сотворили – и дело было бы в шляпе».

Ночь была непроглядная. Ветер шумел. Дождь срывался. Панчуковский подъехал к девятой версте, своротил влево. У могилы Трех братьев его окликнул Подкованцев.

– У! я продрог! Вот бы теперь бювешки, колонель, если нет ничего поманжекать! Нет ли выпить чего? Что вы так опоздали?

– Вот вам бутылка рому, я захватил. Долго в театре я просидел, ваше письмо три часа меня ждало; не знали, где я!

XV

В гирлах и плавнях на Дону

Тройки тронулись рысью. Месяц не вырезывался. Лошади бежали дружно. Много думалось Панчуковскому. Он вспоминал лучшие свои дни здесь, в степях, риски по хозяйству, волшебные барыши, любовные похождения, покражу минувшим летом Оксаны, картины выдержанной им осады, замысел выписать себе итальянку, невольно вспомнил и лица Милороденко и Левенчука у своей кровати, в ночь грабежа, городской театр, музыку в освещенном окне и ответ опрошенного кучера. «Она мне изменила... тем лучше! Мне легче будет жить по-старому! Но Михайлов... помощник мой!.. Я этого не ожидал...» Исправник где-то в потемках останавливался, вылезал из телеги, с кем-то говорил, шушукался, и они опять ехали. «Что за таинственные отношения здешних земских властей к земству! – думал Панчуковский, – тем лучше...»

Заря еще не занималась, когда обе тройки подъехали к какой-то песчаной косе. Тут они переменили лошадей, опять поскакали, опять сменили лошадей, уже невдалеке от тоней купца Пустошнева, и втянулись в камыши. Пустошнев был друг Подкованцева, всегда ему помогал по службе. Но тони его бывшие, в самых донских гирлах, особенно были пригодны для пристаней контрабандистов, по причине ряда отме-

лей и островков за камышами, прилегавших к ним у взморья, и здесь-то часто совершались дела, по которым после начались грозные и энергические следствия. Это было лакомое место для исправников. Они же смотрели сквозь пальцы на передержку здесь беглых.

– Вы потерпите тут, а я на минутку к молодцам зайду! – сказал Подкованцев, – вы будьте спокойны, я дал вам слово и сделаю. Тут надо самим работать. Им негде уже отсюда пройти, кроме вон того места! Слышите, пароход тут где-то пыхтит. На это они, наверное, рассчитывать будут; не может быть, чтобы они ушли без сильной помощи снаружи острога. Подумайте, Милороденко располагал столько времени и такую огромную сумму. Им здесь быть! Они затевают уйти в чужие края...

Исправник слез с телеги, накинул мужичью свиту, взял пистолеты и пошел. Панчуковский приподнялся в свой черед, посматривая кругом.

Исправник посоветовал ему еще втянуться в гирла.

Панчуковский двинулся в чуть бледных сумерках.

– Да вы ступайте, братцы, за мной! – сказал исправник ямщикам, – тут дорога плоская, рытвин почти нет. Ступайте шагом, пока я крикну: тогда и остановитесь.

Подкованцев шел, чуть видный впереди, медленно подвигаясь между исполинскими камышами, то узкими, то широкими прогалинами. Дорога шла песком. Скоро она пошла будто книзу. Под ногами лошадей стали плескаться лужи.

По сторонам, среди нескончаемых зарослей, дремучих, во все стороны идущих камышей, то здесь, то там мелькали белые полосы озер. Вербовые ветви тронули впотымах по лицу Панчуковского. Стало в воздухе влажнее, но так же тепло, душисто и чутко. Легкий ветер зашелестел было тростниками и затих. Туман и облака поплыли с неба. Пояснило. Стало еще теплее. «Это плавни!» – думал Панчуковский, склонил голову и будто слегка вздремнул, усталый донельзя и качаемый ровными колебаниями легкой телеги. Сквозь мгновенную дремоту он услышал издали тихий оклик Подкованцева: «Теперь стойте! Я скоро приду; надо опять своротить к одной тут хатке!» – открыл глаза, потянулся и оторопел от чудной картины плавней, которая вдруг развернулась перед ним, будто выходя из какой-то дымки, из какого-то заколдованного тумана...

Солнце еще не показывалось. Но бледный отблеск, предшествующий заре, уже освещал в разных местах окрестность.

Дон, сливаясь с притоками и дробясь сам на множество рукавов, шел здесь уже не похожий на реку. Это было громадное пространство вод, потопивших землю, холмы, луга и песчаные наметы, или, скорее, собрание самых разнообразных рек, ручьев и островов, поросших исполинскими камышами. Главной реки почти не было видно. То здесь, то там, будто спеша к морю, будто обгоняя друг друга, справа и слева вырывались из чащи камышей новые ручьи. Луга и ост-

рова потопляются разливом гирл до начала жаров, и потому донские плавни в это время посещаются только рыбаками да теми, кого нужда заставляет в них скрыться. Кое-где эти обнаженные пространства, эти зеленеющие вершинки, а большею частью сплошные песчаные кучугуры покрыты ольховником, вербой и лозой. Сюда иной раз, по брюхо в воде, перегоняют на пастбище рогатый скот и лошадей. Но тучи мошек и комаров скоро прекращают возможность к таким перебродкам. Скоро все плавни пустеют. Разве иной бедняк из рыбаков, бродя в лабиринте здешних островов, озер, камышовых зарослей и песчаных мелей, бросит сети и накосит на лодку для лошади полкопны сена или молодого зеленого тростника.

Заря близилась.

Панчуковский не мог оторваться от картины гирл, шумящих, грохочущих и бегущих в пене и в камышовых холмах. Перед ним во ста шагах, за мелким бродком, стало выясняться огромное, тихое, светлое, как зеркало, озеро. Это было не озеро, а тот же Дон, в конце долгого пути завернувший в затишье трех песчаных горбов и целой дубравы лоз и тростников и легший здесь на отдых. По этому тиховодку шагала какая-то серая тень, с длинным носом. Вот заалелся в первых лучах света у нее хвост; она повернулась... цапля. Пролетело новое дуновение ветра; вздохнуло утро. С разных сторон опять отвернулись новые завесы...

Там опять открывается цепь мелких, бесконечных остров-

ков. Здесь блеснули окраины красного, будто окровавленно-го соляного озера. В чаще лозы отозвалась лягушка, за нею другая, сотни, тысячи, и целый разлив болотных стонов огласил воздух. А камыши открываются далее и далее, слились целыми рощами, лесами, темные и величавые, шелестя широкими султанами и листьями. А вот раздался крик журавлей где-то далеко-далеко. Вправо мелькнули крылья мельницы, потопленной в острова и лозы. Что-то шелохнулось в воздухе и загудело далее и далее, будто откуда-то пронесся последний отзвук неслышного пушечного выстрела. На самую телегу, в упор на Панчуковского, порхнув через камыши, налетела какая-то легкая, длиннокрылая птичка. Свободная и дышащая испугом и влагою, она робко и ясно взглянула в его глаза своими круглыми мерцающими глазами и в два взмаха опять взвилась и унеслась в нескончаемые ряды камышей, островов и журчащих неумолкаемо бегущих ручьев. Панчуковский спросил своего жандарма:

– Бывал ты здесь?

– Как не бывать!

– Много рыбы тут ловится?

– Всякая бывает: бычки, синец, белизна, осетры, стерляди, баламут, значит мутящий сельдь, он воду мутит...

Панчуковский взглянул вперед. За тиховодным озером, по которому, незадолго прогуливаясь, прошла покинувшая сон цапля, небосклон стал еще яснее.

Небо вдали, наконец, подернулось отблеском зари. На

окраине небосклона, за камышами, перебегали белые зайчики. Что-то особенно раздольно шумело. То море вдали пенилось и бурлило у берегов, обдавая песчаные наносы широких гирл кудрявым белым прибоем. Ветер еще не смолк. Чайки с криком носились по темному еще взморью. Влево выходили из тумана чуть видные мачты судов, шедших всю ночь по морю под парусами или стоявших вразброску у неводских пристаней по Дону. Вправо виднелись верхушки рыбацких землянок, крошечный домик купца Пустошнева, курени по притокам Дона. С некоторых крыш поднимался уже дымок.

Воротился, запыхавшись, Подкованцев. Он вел на поводу оседланную лошадь.

– Помилуйте, мне совестно, право! Чем я вас достойно отблагодарю? Вы спасаете мое состояние, честь, жизнь мою, и все сами делаете! – сказал Панчуковский.

– Помилуйте, ничего! здесь иначе нельзя. Другой тут бы армию понятых потребовал, казацкую команду, а я все сам. Видите, какие места. Здесь я недавно чай открыл: люди Пустошнева мне все покорны. Между нами сказать, я делюсь с ними законными призами. Меня тут без них чуть было не изрубили на первых порах греки-контрабандисты. Когда-нибудь, как счастливо обделаю ваше дело, покажу вам: у меня плечо перерублено. Кажется, в таких историях когда-нибудь-с пропаду, как собака...

– Что же наше дело? – спросил с лихорадочным трепетом полковник.

– Шш! берегитесь извозчиков! Они нас не знают! думают, что мы простые полицейские сыщики по контрабанде. Сидите же, сидите, камрад, тут; приказчик мне другую лошадь дал там! Давайте еще бювешки – надо допить бутылочку этого рому! Если что надобно будет, я выстрелю из пистолета, тогда вы скачите ко мне. Они уже здесь где-то, верно, вон в тех трясилах ждут; на заре, как заметили наши сыщики, какие-то люди с больною женщиной подходили к куреням. Это они, они; им негде пройти, как здесь... Я разослал стражу по берегам, верховых и пеших, чтоб не дать им сесть где-нибудь на дуб или на лодку и не удрать к пароходу. Вон, видите, какое-то паровое судно стоит, да еще, кажется, английское. Они тут смело теперь шляются. Там, должно статься, мы их и накроем... Ночью буря где-то была, а здесь сильное волнение, их, верно, не приняли на лодку... У меня на все есть открытые листы...

Подкованцев, одетый мужиком, но с пистолетами под армяком, побежал снова камышами.

Панчуковский скинул тулуп, остался в одном сером простом кафтане, сел верхом на приведенную довольно крепкую лошадку, перекинул через плечи гостиничный штуцер, врезался еще глубже в более высокие и густые камыши и стал ждать. Кругом уже ярко сияли озерки и трясинные болота. Дичь начала стрекотать, кричать и стонать на все лады. Гуси загоготали невдалеке, поднялись громадною стаей и с звонкими перекликаками потянулись к морю. Панчуковский ждал,

соображая свое положение. Ему невольно опять представился брошенный Петербург, модный свет, балет, Невский проспект, блистательные товарищи. Он взглянул на своего вислоухого пегаса, на свой дырявый серый кафтан, помыслил, что через полчаса он может сделаться окончательно банкротом, чуть роковым беглецам каким-нибудь волшебным, неожиданным оборотом дела удастся уйти с берега. «А остальному свету нет до меня дела! Где решается моя судьба...» Ясноло более и более. Возле неводских куреней задвигался народ. Какие-то пешие побежали ко взморью; какие-то всадники поскакали...

Панчуковский невольно в это мгновение подумал: «Что, если все погибнет, если их не поймают и мои деньги, все мое состояние пропадет, исчезнет без следа навеки? Что, если будет свалка, меня кликнут сигналом, я поскачу и меня убьют? Будь что будет! Я пожил, повеселился. Я ловил каждое мгновение жизни, пил сладость из каждого цветка, бросая его потом, как негодный. Убьют – туда мне и дорога! Смерть раз бывает в жизни. Ну, значит, так и на роду было написано. Жил в деревне у отца, потом в Петербурге, потом женился, состояние взял; жена надоела, жену бросил, сюда приехал – жизнью поживиться на этом раздолье, – тут выходит и конец. А если не убьют?.. Если не убьют, а возьмут одно состояние, все состояние, как есть, все до единого средства к жизни... что тогда? Вот любопытно: хватит ли у меня силы воли избавиться лично, собственной охотой, от такого

позора и унижения? Хватит ли у меня ума, безумия, горячки покончить эту шутку... самоубийством? Позор после роскоши, цепи и нищенская сума после воли и счастья!..»

Раздался чуть слышный сигнальный выстрел. Дымок забелел над песчаными откосами.

– А! сигнал! Подкованцев не врет. А я уже начинал думать, не возьмет ли он взятки с того же Милороденко и не пропустит ли его: теперь у соперника моего денег больше! Двести тысяч!.. О двухстах тысячах идет дело, а в этой пустыне их спасают всего двое: я да сам исправник...

Владимир Алексеевич поскакал на выстрел, впереиз безавшим вдали по берегу людям. Едва он выскочил из лимана, пробегая донские гирла и плавни, и поднялся на возвышенную, плоскую прибрежную отлогость, чудные картины опять, как нарочно, открылись перед ним. Утро заливало уже море алыми лучами...

Поморская последняя ширь и гладь расстилалась, синяя, во все стороны. Кое-где по зеленым буграм и песчаным косягам мелькали беленькие придонские хутора и побережные слободки. Дикая, суровая и бедная растительность, между песчаными долинами и наметами, сверкала в блесках утренней росы. Солнце выкатывалось слева, со стороны кавказского небосклона, гоня последние волнистые туманы и выясняя более и более, пышнее и пышнее берега, суда, камыши, плавни и синее хмурое море. Бойкий донской конек скакал во всю прыть по знакомой, родной равнине. Панчу-

ковский пришпоривал лошадь и напряженным взором следил вдаль какую-то непонятную суматоху. Сновали люди у берега; кто-то махал шапкою, звал других, голоса уже слышались...

– Что тут? где, где? – закричал Владимир Алексеевич, доскакав на высокий пригорок и с него окидывая глазами все кипевшее еще от ночного ветра взморье.

– Вона, эвона! – отвечали неводчики, почесываясь и не узнавая в подъехавшем серокафтанике барина, да еще и полковника.

Они указывали на берег, где кто-то садился в лодку, суетливо понукая гребцов, упиравшихся веслами и не хотевших ехать.

Панчуковский поскакал туда. Это был Подкованцев.

– Я исправник, – кричал последний обезумевшим от досады и бешенства голосом, – я исправник, подлецы! Везите, везите меня! Вот они...

– Кто, кто? – спросил Панчуковский, кружась на разгорячившемся коне. – Да отвечайте же, бога ради? Кто?

Исправник отбил лодку, вырвал у одного из гребцов, едва стоявших спяну на ногах, весло и оттолкнулся от берега.

– Наши, наши вон, на баркасе едут, уже к пароходу спешат. Проклятый край! Анафемский край! Эти олухи так и не дают лодки; да разве я беглый какой! Исправник тут пешка ничтожная; на сотни верст раскинуты притоны мошенников, а тебя никто не слушает. Они споили за ночь этих олухов.

Тут все заодно!

Панчуковский увидел на парусном дубе знакомцев: Милороденко, Пеночкин и Левенчук гребли; Оксана, укутанная платком, сидела на корме. Гребцы на дубу были, очевидно, не русские, из греков или турок. Поднимался опять свежий ветер. Прибой был сильный. Дуб относило влево к берегу. Исправника течением потащило вправо. Подкованцев орал на бежавших по берегу других неводчиков, звал их, божился о чем-то, колотил себя в грудь, ругался... Дуб стал заходить за бугор на мели.

Владимир Алексеевич выждал, соскочил с лошади, ухватил штуцер, спустился на колено, прицелился в дуб из штуцера и выстрелил сперва картечью, а потом пулей. Дуб был шагах в трехстах от берега. Картечь засвистела по волнам... Гребцы на дубу с насмешкой поклонились. Пуля также никого не зацепила. На дубу путники сперва засуетились было, но стали опять спокойно смотреть на берег.

– Лодок, лодок! – орал Подкованцев, бывший сам, как известно, когда-то во флоте, и выбивался из сил, гребя одним веслом, – лодок! Тут участь человека гибнет, моя служба пропадает!

С берега, из гирл, справа потянулись востроносые лодочки. Их кидало, как пробки, по волнам. На иностранном пароходе разводили пары.

Дуб, подхваченный попутным ветром, распустил парус и, выбравшись из-за прибрежья, пошел быстрее. Плывших на

нем уже трудно было разглядеть. К Панчуковскому, также почесываясь, подошел неводский приказчик и узнал в нем барина.

– Верно тульское-с, простое ружье у вас? – спросил он, снимая шапку, – либо вы промахнулись, ваше высокоблагородие! А лошадка вынесла вас хорошо...

– Нет, я, кажется, кого-то зацепил. Одним, кажись, меньше на дубу стало. Я что-то не вижу хорошо. Неужто не успеют обогнать их наши береговые лодки? И отчего тут пушек нет?

Приказчик наставил ладонь к глазам.

– Все, барин, все целы на дубу; я их считал, когда они садились вон за тою косою. Это албанский пароходик, под аглицким флагом: переселяющихся татар-с все эти дни тут неподалеку забирал и ногайцев из дальних аулов, а нынче ему идти. Пушек же, барин, не наставишься везде: ишь, наша Расея-то раскинула свои границы!

– Да разве туда беглых допускают, позволено береговою стражей?

– Всяко бывает, барин, всяко... даже...

Последних слов приказчик не договорил. Дуб стало опять гнать к берегу. Ему вперерез поплыл Подкованцев. Вдруг на дубу сверкнул огонь, дымок за клубился. Что-то зашуршало в воздухе. Панчуковский ахнул: Подкованцев навзничь перекинулся с своей лодки через борт. На берег, где стоял Панчуковский, начал сбегаться народ. Исправник был убит на-

повал; дуб поплыл далее; новый порыв ветра; сидевшие на дубу зашевелились, распустили другой парус и направились к пароходу; лодки их не догнали. Пароход тронулся и пошел на всех парах.

– Мертвый, ваше высокоблагородие, – сказал другой жандарм, когда сторожевые лодки привезли на берег бедного Подкованцева и положили его на песок, – череп вон своротило. Видно, пуля-то у разбойников аглицкая-с, да и штуцер дальнобитный. Шагов на полторы тысячи хватил и задел ловко-с; на прицел так по воле не возьмешь – я сам в ратниках в Севастополе был... Ах ты, горе какое! Ах-ах!..

Полковник стоял, не помня, что вокруг него делалось. Явились соседние сотские. Произведена по береговой страже тревога. Посланы гонцы в город. Оттуда казенный пароход к вечеру пустился в погоню за названным транспортным пароходом. На высоте Керчи, в проливе его догнали, остановили, осмотрели. Работал телеграф. Но осторожных беглецов на том пароходе не оказалось. Ночью и на другой день был дождь. Пользуясь туманом, вероятно, беглецов где-нибудь высадили на кубанский, волновавшийся тогда берег, либо на другое иностранное судно. На этом же албанском пароходе сидели только грязные, в лохмотьях ногайцы и часть переселяющихся в Турцию побережных татар.

Так было донесено градоначальнику.

– А деньги, мои деньги? – вопил Панчуковский, оставшись еще в городе. Все пожимали плечами. Остальных

незначительных осторожных беглецов вскоре переловили. Те далеко не пошли: все поймались по соседним кабакам.

Тело Подкованцева привезли в город. Панчуковский рассказал любопытствующим свое дело: «Какою жалкою и позорною смертью умер бедняк Подкованцев!» – толковали горожане и знакомые. «А достойный был человек! От руки каторжников, беглых жизнь кончил! Этого у нас еще недоставало! А еще отставить хотели такого достойного человека!..»

Имя полковницы Панчуковской, урожденной Перепелицыной, стало между тем произноситься всюду в городе, сделалось модным именем. К ней являлся с визитом полицеймейстер, градоначальник пожелал с ней познакомиться. А до той поры, всю осень и зиму, она тщетно всех просила, хлопоча о разделке или примирении с мужем.

– Да она, говорят, глупенькая! – толковали городские дамы, – она купеческая дочка, что ли? Ее Панчуковский, говорят, бросил из-за какой-то ее измены.

– Таков он, чтоб жена у него изменяла! Это он ей ежечасно изменял и теперь изменяет...

– А ее роман с этим учителем?

– Какой вздор! Михайлов уроки ее дочери дает... Ведь это теперь артист; слышали вы, как он играет! В один год чудеса сделал! Он ее дочку учил играть, а матери давал уроки пения...

– Так, так! – говорили, недоверчиво качая головами, словоохотливые местные дамы. – Значит, они дуэты страстные

вместе распевают? Спекуляции же ваш артист оставил?

– Бросил совершенно: он теперь собирает и записывает украинские народные песни, кладет на музыку и хочет издать, и оперу пишет на какую-то малороссийскую повесть Гоголя. Дарование замечательное...

Нежданно-негаданно явился в город священник отец Павладий и привез прямо в дом градоначальнику найденный кем-то в овраге, при снятии стога, чемодан. В чемодане были деньги. Панчуковский опять было окрылился; но от высшей власти из Петербурга явилось секретное предписание наложить арест на все имущество Панчуковского, а его обязать подпиской не выезжать из города. Друзья жены полковника ожили. Зато он снова и окончательно потерялся. Новая Диканька также ускользала. Ему посоветовали обратиться в сенат. Полковник, однако, поговорив с судьей, оделся и полетел к своей жене с предложением мировой. Голова его горела. Сердце било тревогу.

– Настасья Васильевна, прости меня! – сказал он, входя к ней и опускаясь на колени. Дочка его выбежала с куклой из гостиной, увидела незнакомого ей человека и остановилась. – Прости меня, Настенька! Я много перед тобою виноват: я тебя обидел. Господь меня наказал – прости для нашего ребенка!..

В это время из гостиной вышел прокурор.

– Я давно хлопочу за вас, полковник, – сказал он. – Это вещь более невозможная: по личному ходатайству вашей же-

ны, брошенной вами более девяти лет, ей выслали разводную.

В городе продолжали толковать о неясных отношениях Панчуковского к его жене. Их печальный роман еще не давал многим пытливым головам спокойно спать. Как всегда водится, образовались два кружка: один стоял за мужа, другой – за жену. Одни говорили: «Муж изверг!», другие: «Хороша и жена! Она вот что, вот что и вот что делала!» Толки, разумеется, вскоре приняли новый соблазнительный оттенок. Говорили по-прежнему, что у госпожи Панчуковской не только здесь, но и в Моршанске были тайные и явные любовники, что ее здесь весь город с этой стороны узнал, что даже торговки стали о ней легко относиться. Именно, будто кто-то подкутил и крикнул как-то: «Извозчик, к полковнице! знаешь?» – «Как не знать полковницы, извольте!» Так будто бы нагло и свободно ответил городскому пьянчужке-офицеру извозчик. Сторона мужнина приводила другие примеры: «Коли так, то отчего же не изменять и самому Панчуковскому? Вот он услышал о поведении жены; может быть, и помириться с ней был бы не прочь, а молва о ней пошла, он назло ей и вспомнил опять старину – с цыганками стал водиться, неприличный пикник за городом с чиновниками затеял...» – «А ограбить жену?» – «Что же тут состояние? Найденных в стоге денег ему не возвратили. Наложили секвестр и на его хутора. Да разве это что-нибудь значит? Он подал апелляцию в сенат, а сам переехал в Новую Диканьку. Что же из

того, что они подвели против него такие подкопы? Что, наконец, из того, что он на женины деньги все дела повел, на них купил и хутор? Это уже их счета, их... И нам между ним и женою дела никогда не решить!»

Эти толки длились недолго. Город вскоре был поражен последнею и общею прискорбною вестью...

Владимира Алексеевича Панчуковского его дворовые, вновь нанятые люди, подняли убитым на ярмарке в Андросовке. Смертельный удар ему был нанесен неизвестно кем в переулке, в конце ярмарочного дня. Оказалась разбитою голова: кто-то с непомерною силою ударил его сзади чем-то вроде гири. Началось шумное следствие. Взяли под допрос всю его дворню. Чиновники-дельцы не открыли, однако, ничего, что бы наводило на черную причину убийства Панчуковского; полагали, что в противозаконном передержательстве беспаспортных людей надобно было искать главной и ближайшей причины насильственной смерти полковника. «Что вы, господа, вздор несете? – перебивали их чиновники из молодого поколения, – да его беглые слуги ему служили получше многих крепостных! Они его столько раз сами спасали...»

«Ну, счастлив и Подкованцев, что погиб от этого следствия. Мы бы и его запроторили туда, куда Макар телят не гонял! Он был главная опора беглым».

Господа чиновники, однако, скоро получили приказания не фантазировать на предмет мнимой виновности беглых из

дворни полковника, не ссылать их и не теснить, а судить, как всех людей на свете, ожидая дальнейшего решения о приписке их к месту оседлости.

Кто-то принес в гостиную градоначальника такое известие:

– Бедная Панчуковская! Да дайте ей, наконец, средство вырваться из этой тины сплетен и пересудов. Скоро ее станут винить и в смерти мужа, тогда как дело оказывается иное...

– А что? разве есть что-нибудь новое?..

– Как же-с! Полковника убили, это вы знаете. Пойман некто Петрушка Козырь, крепостной лакей покойного отца Панчуковского, живший при жене полковника и бежавший от нее по дороге сюда, как вы, верно, слышали. Он любил барыню, служил ей верой и правдой десять лет, а бежал, узнав, что ему опять было суждено попасть к барину. Верно, солоно было и у батюшки полковника всей семье Козыря. Брат Петра этого, Касьян Козырь, бежал сюда давно, еще от батюшки полковника. По справкам теперь оказалось, – как бы вы думали, что? – оказалось, что этот Касьян некогда с малюткой дочерью шел сюда, был на дороге зарезан, умер в Таганроге в госпитале; его дочь попала в воспитанницы священника, на Мертвой, – она-то после и была похищена полковником... Петрушка же Козырь на днях был пойман, бежал из квартиры станового пристава, где на справках и допросах узнал судьбу своего погибшего брата Касьяна и его дочери, – да, недолго думая, стакнулся еще, верно, с Левенчуком, явился

на ярмарке, нашел в толпе покупателей полковника, подстерег его и убил наповал, из-за угла в переулке...

– Где же делся убийца?

– Исчез без следа.

В конце июня, после смерти полковника, жену его ввели во владение всем его имением. Шульцвейн предложил мадам Панчуковской уступить ему земли, постройки и все заведения с движимостью на Новой Диканьке. «Вам теперь, без энергии покойного вашего мужа, не управиться с этим имением. А у меня есть свободный капитал, и я поведу дело выгоднее, уплатив вам за все наличными». Бедная и измученная Настасья Васильевна с радостью продала Новую Диканьку, переуступила Шульцвейну и аренду мужа по другой земле, где были овчарни и знакомая читателю «пустка» – место первой сцены ее мужа с Оксаной; расплатилась с своими моршанскими кредиторами; продала немцу и заграничный фаэтончик, с четвернею новых бойких дончаков, возивших ее мужа постоянно вскачь, простилась с соседями и уехала обратно в Моршанск. «Климат на юге России невыгоден оказался полковнице, – толковали горожанки, – иначе бы она не уехала». – «Нет, это не то! – толковали мужчины, зараженные и здесь спорами новейших публицистов, – пора для частной деятельности мужского пола высших сословий на Руси настала, а для женщин еще не пришла. Да будь жив полковник, так и он, кажется, долго не протянул

бы своих предприятий. Оборвись еще у него два-три дела, вроде поедания саранчою его степей, и он, наверное, через год опять бы служил в коронной службе. Эти акционерные компании, эта губернская провинциальная деятельность наших передовых людей – только поветрие. Увидите, все наши новейшие стремления и так называемый собственный труд кончатся одним: наши имения, фабрики, леса, земли и воды... все здесь скоро попадет в аренду либо к немцам, либо к жидам...»

Через месяц, вслед за Панчуковскою, уехал в Моршанск и Михайлов. Прошел слух, что он еще в Новороссии сделал ей предложение и по смерти ее мужа получил от нее слово.

Недавно чудным, теплым, чисто украинским деньком, по обычаю, подарила осень южные степи. Солнце, слегка будто отуманенное, грело по-летнему. Паутина летела во все стороны. В поле было тихо, травы пожелтели, но лист с деревьев в одиноких оврагах еще не облетел. Эти красивые лески стояли, горя всем разнообразием измененных, доживающих последние дни листьев: светлым пурпуром диких яблонь и шиповников, ярким золотом кленов и лип, серебром осокоров и синеватым густым багрецом терновника, дубков и орешников. В это время поморские новороссийские степи по красоте не имеют себе соперников. Слетаясь с севера, перед отлетом за море, в это время дичь здесь кишмя кишит. Стаями ходят дрофы, гуси темно-серыми отрядами пасутся

по пустырям, будто стада овец. Журавли кричат, производя свои воздушные смотры и разводы под облаками, свертываясь в треугольники или развертываясь в длинные, подвижные, необозримые колонны. Иной раз по часу и по два они летят, застилая небо. В это время в степях из людей уж почти никого не увидишь. Чумацкие обозы, в ожидании близкой распутицы, не тянутся более с севера в портовые конторы по широким дорогам. Хлеб свезен. Одни скирды сена торчат еще то здесь, то там, служа сидалищем для молчаливых и важных орлов и коршунов всякого вида и роста.

Затих и оделся в пышные цвета и оттенки и овраг Святодухова Кута. Роцца ракитника отливалась всеми яркими блестками. Пруд синел и просвечивался сквозь ее обнаженные опушки. Несколько юрких птичек шныряли в деревьях, высвистывая свои последние песни.

А в домике отца Павладия готовилось грустное событие. У стола, на котором всегда кучами лежали газеты и журналы, сидел, насупившись, посторонний священник, какой-то рыжий, золотушный, тощий и длинный, с подвязанною щекою, отец Геронтий. Он сидел тревожно, косясь на стол перед окном, где новый святодуховский дьячок Андрей, чувший недоброе, с грустью устанавливал наскоро соленую закуску. В спальне же раздавались тихие одинокие стоны. Там на лежанке сидел старый слепой дьячок Фендрихов, а на скамье его жена, с ребенком на коленях, и какая-то знахарка-старуха, из соседних казачек. Отец Павладий, просту-

дившись на отправлении одной требы, умирал от горячки. Лекарей в окрестностях, разумеется, не было. Он часто забывался и бредил; но иногда приходил в себя. Свидетели его уединенной жизни на Мертвой молчали, вздыхая и прислушиваясь к нему, как говорится, ожидали отлета души. Но не сдавался крепкий, в пустынном воздухе состарившийся священник.

– Осиротеет, опустеет окончательно мой дом! – проговорил отец Павладий, взглянув кругом себя, – но не опустеют здешние окрестности. Не один владелец, Фендрихов, другой найдется... Ох... тяжело мне... тяжело. Вот уж и манифест весною прочитали. Не забудут вас, господа! Людям становится лучше. Беглых несчастных станет меньше. Придут сюда люди всякие теперь уж по воле. Фендрихов! не поминай меня лихом. Кто б тут ни был, проси служить службы по мне да по бедным, по несчастным и по схороненным тут переселенцам. Ох... да смотрите... рощу-то, сад, прудок мой берегите... А про Оксану-то, про Оксану... Ох, благослови ее, господи боже, сироту эту! Где-то она? а? где?

В ночь на другой день отец Павладий умер. Фендрихов рассчитался с хоронившим его священником туго и не без прижимок. Он был в отставке, следовательно, самостоятелен.

Молодой дьячок, по смерти строителя Святодухова Кута, тотчас подвергся гонениям нового священника, так как все дядино имущество становой передал ему, кроме части по-

житков, отданных Фендрихову, с коровами, пчелами и овцами отца Павладия. Новый священник стал осуждать направление мыслей своего причетника, ославил его перед епархиальной властью за вольнодумство и за заведение переписки в запрещенном образе суждений.

Дьячок Андрей временно, скрепя сердце, выбился оттуда в другой приход; но судьба ему улыбнулась. Колонист Шульцвейн, хотя и лютеранин, выхлопотал ему оправданье. Шульцвейн начал приобретать влияние и на Мертвой. Андрея сделали опять причетником святодуховской церкви. Колонист часто, владея теперь Новою Диканькой, заезжал к нему беседовать.

«Молодцы немцы! – думал дьячок, завидя приближение его зеленого фургона, – не зевают – все прибирают к рукам!»

– Что толкуют ваши прихожане? – спрашивал колонист, протягивая дьячку мозолистую руку и ослабляя белые здоровые зубы. На нем была прежняя синяя куртка, а длинные костлявые ноги в тех же высоких сапогах, не без аромата дегтя.

– Какие-с, Богдан Богданыч?

– Помещичьи! Как они, по соседству, смотрят на новое свое положение, опубликованное вам теперь?

– Будем, говорят, ждать.

– Беглые же попадаютса и теперь? Видите ли вы их тут иногда хоть в церкви? Ведь это было прежде одно средство спастись: это был предохранительный клапан для былой ма-

шины вашей... понимаете?..

– Нет, реже стал этот народ; почти что вовсе их нет. Многие пошли добровольно на север-с, в Россию.

Шульцвейн молча уехал. Он не переставал любить Святодухова Кута, много помогал в его дальнейшем процветании: все поглядывал на плод трудов отца Павладия, на подцерковный прудок в роще, думая: «Нельзя ли бы и тут хоть мойку для шерсти устроить или пивной завод? Место отличное!..»

– Он ненадежный, – говорили, однако, некоторые о Шульцвейне, – он затевает уехать и продать все земли; увидите, что это случится...

К осени жена ему собственноручно сшила новую куртку и купила ему вместо серебряных золотые часы. Но он их спрята.

– А что же участь Милороденко, Левенчука и Оксаны? – спрашивали иногда городские дамы, которых еще занимала история этих беглецов с Панчуковским.

– Говорят одни, что они через Кубань и Кавказ в Турцию пробрались; другие же толкуют, что они попались где-то, не то в Анапе, не то в Редут-Кале; какой-то татарин выкrest будто выдал их...

– Ну, что же с ними сделали?

– В остроге, верно, сидят где-нибудь. Да нет, не может быть: хоть священник и нашел деньги Панчуковского, но ведь значительная доля из этой суммы была в золоте и се-

ребре, и ее не оказалось, — что-то более трех тысяч рублей. На эти деньги со стороны их соумышленники им и помогли, значит, уйти из острога; на них же они могли пройти через все наши пограничные пикеты, и ушли, вероятно, если не в Анатолию, так на каком-нибудь купеческом судне в Молдавию. А эта сторона вся в такой теперь сумятице, что там укрыться и пристроиться, особенно еще с деньгами, очень легко. Да там же немало живет и наших прежних, уж давно оседлых и отлично пристроившихся беглых. Плати только исправно подати, да живи смирно — дело твое и улажено...

В ноябре стала продавать имение, вследствие окончательного неуспеха своих дел, и помещица Щелкова. Шульцвейн и ее землю купил.

— Каков, а? — говорили о нем помещики и горожане, — скоро весь уезд будет в его руках! А если переменится выборный ценз, он будет иметь сильный голос и в нашем будущем земском устройстве... Куда ему уезжать? С нами останется!

— Что ж тут удивительного: немец, да еще и не русский, а иностранный, немецкий немец!

1862